

В.И.ДАЛЬ



ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Владимир Иванович Даль

Вакх Сидоров Чайкин, или Рассказ его о собственном своем житье-бытье, за первую половину жизни своей

Эта повесть также интересна прежде всего воспроизведением в ней различных чисто русских типов. Некоторые из них лишь намечены, характеристики их едва очерчены, но эти типы выхвачены писателем из самой толщи русской жизни и потому волнуют и привлекают. Это и характерный для 40-х годов разночинец Вакх Сидоров Чайкин, и самодур, шут и «великодушный» помещик Иван Яковлевич Шелоумов, который считал, что розгами крестьян бить – самое святое дело; есть в повести и герой, напоминающий гоголевского помещика Костанжогло, и даже проходимец, торгующий мертвыми душами.

Содержание

#1	0006
Глава I. От сотворения моего и до барской передней	0007
Глава II. От барской передней до француза с отмороженными ногами	0010
Глава III. От замороженного француза до зеленой куртки Ивана Яковлевича	0016
Глава IV. От зеленой куртки Ивана Яковлевича до последних фокусов его	0027
Глава V. От последних фокусов Ивана Яковлевича до казенного добра, которое не тонет и не горит	0034
Глава VI. От казенного добра, которое не горит, не тонет, до преглупого покроя платья	0045
Глава VII. От преглупого покроя платья до попутчика	0054
Глава VIII. От попутчика до чемодана, в котором добра немного	0061
Глава IX. От чемодана, в котором добра немного, до фортепьян с турецким барабаном	0067
Глава X. От фортепьян с турецким барабаном до кочерги и щетки	0074
Глава XI. От кочерги и щетки до метлы с фонарем	0085
Глава XII. От метлы с фонарем и до самого	

полковника и дальше	0096
Глава XIII. Нечетная и недобрая, как тринадцатый гость за столом	0102
Глава XIV. От главы тринадцатой и до пятнадцатой	0114
Глава XV. От плохого расположения духа и до хорошего	0123
Глава XVI. От стряпчего Негурова вплоть до девиц Калюжиных	0132
Глава XVII. От дому Калюжиных и до дому Калюжиных, или собственно об этом предмете . . 0138	
Глава XVIII. От дому Калюжиных и до квартиры Чайкина через большую улицу и рынок, за вторым переулком	0158
Глава XIX. Об огурцах, моркови, тыквах, картофеле и других предметах роскоши . . .	0171
Глава XX. От предметов хозяйства и до самого конца рассказа, с попутными замечаниями о чеботарном ремесле	0180

**Владимир Иванович Даль
Вакх Сидоров Чайкин, или
Рассказ его о собственном
своем житье-бытье, за
первую половину жизни
своей**

Не думаю, чтобы жизнь моя и большая часть того, что относится к личности моей, заслуживали большого внимания; но уверен, что уроки, коими наделяла меня судьба постоянно в течение тридцати лет, считая с самого дня рождения моего, могут быть поучительны не для одного меня, а для всех, если бы только они могли врезаться другому в голову и в сердце, как мне; уверен также, что спознаться с людьми, коих случилось мне рассмотреть очень близко, никому не мешает, а многим будет и очень кстати. Первые тридцать лет жизни моей были резки в очерках и пестры красками, хотя и сам я человек темный, как вы сейчас это увидите; но не ищите в записках живого человека повести или романа, то есть сочинения; это род живых картин, из коих немногие только по поговорке: *гора с горой*, – в связи между собой и с последующими.

Глава I. От сотворения моего и до барской передней

Я сын приписного по ревизским сказкам, по народной переписи, комлевского мещанина, и остался без звания и места, когда отец мой скончался, покинув меня голосистым крикуном, но еще бессловесным. Мать моя поехала с какими-то попутчиками отыскивать отца, который, отправившись по торговле или промыслу своему – он был барышником, как у нас говорят, то есть торговал лошадьми, – отправившись на лебедянскую ярмарку, пропадал, не знаю сколько времени, без вести, – поехала и меня повезла с собою; на пути захворала, сердечная, попутчики покинули ее в чужом месте, она умерла, а я остался круглым сиротой, не научившись еще и самой необходимой на свете вещи: есть хлеб. Село было господское; мужик, у которого в избе скончалась мать моя, а я остался на руках, пошел с жалобой на беду эту к барину; тот, выбрав мужика порядком за такую неприятность, велел взять меня во двор, кор-

мить, поить и растить. Вот все, что я впоследствии слышал от людей господских о том, кто я таков и откуда.

Когда я стал знать и помнить себя, то было мне, видно, года четыре; названная мать моя, скотница в барском доме, колотила меня кулаком в спину, приговаривая: «Молись, молись, молись, не ложись спать как собака». Эти слова остались в памяти моей, и это первые мои воспоминания. Потом, года через два, помню разительную перемену: барские покой; я попал туда со скотного двора по замечательному случаю. Один из барчонков сшалил что-то, и барин велел привести со двора какого-нибудь мальчишку и высечь в барских покоях при виноватом – в острастку; на это, как безродного сироту, избрали меня. Помню, как большой, плотный дворецкий пришел, схватил меня за руку и потащил по двору по лестнице; в покоях поразил меня крик, шум, плач – это барин сердился, бранил барчонка; барыня заступалась за него, а тот ревел. Я глядел на все это довольно спокойно, ничего не понимая, покуда наконец меня вдруг, ни с того ни с сего, схватили, растянули

и высекли. И я и три барчонка, мы все выли в голос, барин кричал и все грозил одному из них и приговаривал; а барыня об эту пору уже успокоилась немного и отошла. Когда все это кончилось, барин спросил: «Чей это головорез?» И услышав, что я скотницын приемыш, которая уже вбежала в переднюю, также ревела во всю глотку и кинулась баринову в ноги, то он, сказав: «А ты чего тут реवेशь, тебе какое дело? Что он, сын, что ли, твой? Ты чего пришла заступаться? Дура!» – приказал оставить меня в покоях; пусть-де привыкает, наука эта не мешает ему, пригодится, он будет бояться теперь и станет слушаться; потом пригрозил мне и, притопнув ногой, выслал в переднюю. Названная мать вынесла меня на руках, обмыла, одела, успокоила и опять понесла в барские покои: я снова реветь на чем свет стоит; и тут уже поколотила меня и сама Катерина. Заглушив кулаками страх мой, она передала меня холопам в переднюю.

Глава II. От барской передней до француза с отмороженными ногами

Первое время думал я, что меня прикомандировали в переднюю для одной только нужды: чтобы щелкать колодою карт по носу. Я сидел тут безвыходно, холопы играли в три листа или подкаретную и при этом били меня за всех по носкам. Это продолжалось, однако, недолго; вслед за тем помню я себя вдруг за одним учебным столом с баричами, и почти запанибрата с ними.

Это покажется иному странно. Надобно узнать, однако же, Ивана Яковлевича Шелоумова, моего отца и благодетеля, чтобы понять сколько-нибудь такую перемену. Иван Яковлевич Шелоумов был человек до такой степени странный, что иные называли его помешанным. Особенности в нем была такая бездна, что никто в мире не мог бы в каком бы то ни было случае жизни угадать, что делает теперь Иван Яковлевич, какое выведет заключение, на какой род действий решится.

Нрав его был необъясним. Казалось, он по дням, по часам, по неделям принимал на себя временно и поочередно всевозможные нравы и был сегодня не тот человек, что вчера, иногда вовсе не тот, что час тому назад; утром скуп до невозможности, к обеду благообразный хозяин, к вечеру мот; в понедельник сердит и брюзглив, во вторник насмешлив, в среду отчаянно весел, в четверг учен, глубокомыслен, в пятницу богомолен, в субботу страстный игрок, в воскресенье – затеям нет конца, и весь дом выворотит вверх дном и наизнанку. Он как будто всегда разыгрывал какую-нибудь роль, но, казалось, без намерения, не знал и не замечал этого сам, а следовал житейским правилам своим, на этот раз составленным, и готов был в каждую минуту отдать вам отчет в нынешних делах своих, – но, заметьте, только в нынешних, – излагая перед вами целую вереницу опытной премудрости своей. Он, казалось, действовал всегда по душевному убеждению и не ханжил, но убеждение это менялось не только с видами луны, а иногда и с высотой солнца. Дома он обыкновенно корчил строгого, но справедли-

вого отца семейства; если тут случался в такую минуту кто-нибудь посторонний, то Шелоумова речь изобиловала бесконечными поучениями, он был нравоучителен до приторности; с дворовыми и крестьянами был он то крайне ласков, шутлив, словоохотлив, снисходителен; то опять вдруг приходило ему в голову, что надобно их взять в руки, и он был криклив, шумлив, драчлив до нестерпимости; то опять хотел достигнуть всего одним путем убеждения и наставления, поучения; «Мысли вслух у Красного Крыльца», сочинения Ивана Яковлевича, читались тогда по целым часам собранным в одну кучу крестьянам, как приказ земского суда. Послушайте его в такой час, и вы найдете живого *Стародумова* или *Прямикова* [1], лица, которые, как мы полагали, могут жить только в скучных монологах отжившей век свой драны. Доучая всем до невероятности, когда находила на него эта полоса премудрости, он сам был собою доволен и счастлив; послушать его, так он преобразовал весь околоток, из крестьян своих сделал умных, рассудительных, добрых и послушных людей, а поглядишь на деле –

бестолочь такая же, как и всюду: та же бессмертная овца, те же тальки, самосидные яйца, утиральники и пени с новоженцев [2]. При людях, которые мало знали Ивана Яковлевича или приезжали в первый раз, он нередко вдруг прикидывался хватом, молодецом, силачом, отчаянным ратником на поприще спасения погибающих – и все, что он желал, может быть, когда-нибудь сделать, все это являлось у него уже готовым, действительно исполненным и сделанным, и он лгал и врал тогда без всякого зазрения совести. Иногда находила на него неодолимая охота потешить присутствующих русскими песнями, даже пляской, и тогда он пускался во все нелегкие, кстати ли, некстати – ему все одно. Иногда ломал он немилосердно, и по целым дням, русский язык, передразнивая немца, англичанина, итальянца, – и тогда уже ни с кем не говорил иначе; в другое время порывался говорить по-украински, по-польски; то начинал приучать себя говорить самым отборным, книжным русским языком, то хотел подделаться под наречие крестьянское, то корчил заику, косноязычного и, наконец, зве-

ря или птицу. Иван Яковлевич, например, нередко, сидя у себя один, упражнялся в том, чтобы кричать петухом, теленком, кошкой или выть волком; свои к этому привыкли, и если вдруг страшный вой раздавался по целому дому, то никто на это не обращал внимания. Раз только страшный волчий вой переполошил весь дом, потому что дело происходило ночью. Иван Яковлевич сам перепугался этой тревоги: мать охала, стонала и дрожала, дети ревели в голос, девки и холопы сбивали друг друга с ног, дворня сбежалась, потому что уже и ночной сторож, думая, что в доме режут, колотил во всю мочь деревянным клепалом и орал во всю глотку: «Караул!» Ивану Яковлевичу, как они тогда сказывали, показалось, что уже должно быть утро, и он хотел только напугать проспавших холопов. Я помню так же, как Шелоумову вздумалось непременно выучиться ржать по-конски; это стоило большого труда, и за этим привозили из соседства учителя, какого-то цыгана или татарина. Обыкновенно Иван Яковлевич подражал по наружности во всем такому человеку, которого недавно видел, если человек этот

особенно понравился ему или он хотел его осмеять.

Вот вам отец мой и благодетель налицо; после этого не мудрено, если он, вспомнив вдруг, что я несчастный сирота, приказал вымыть, вычесать меня, одеть в старое платье барчонка, призвал, говорил очень долго и назидательно – хотя я и ровно ничего не понимал – и велел мне учиться вместе с баричами у священника, у отставного протоколиста, которого не велено было принимать никуда на службу, и у взятого для ученья в дом француза с отмороженными ногами, который остался в том краю, когда все товарищи его, пленники с ногами, отправились домой.

Глава III. От замороженного француза до зеленой куртки Ивана Яковлевича

Этому французу и священнику я обязан много; они меня всему доброму выучили, что я знаю и что во мне есть; протоколист учил нас только вместо всемирной и российской истории быть всемирными и российскими негодьями, воровать для него у барина табак, а у барыни сахар, нитки, иголки; лучшее, чему он нас выучил, это играть в козны, в свайку и ловить разными силками и западочками певчих птиц. Случай, по которому он наконец лишился хлеба у Ивана Яковлевича, стоит того, чтобы об нем упомянуть: человек этот, как я сказал, таскал домой все, что только попадалось ему под руки, и, между прочим, завел очередь между учениками своими и отпарывал каждый день у одного по пуговке, роговой или медной, какая случалась, — а обтяжных, впрочем, не трогал. Детям велел он всегда говорить, что пуговка оторвалась и потерялась. Но как в этом доме никто много об

одежде нашей не заботился, а протоколист день за день продолжал промысел свой, то барин и заметил вдруг за обедом, что на баричах ни на одном нет ни одной пуговицы. Дело пошло на разбирательства, а как я уже вовсе не желал, чтобы меня опять посекали в пример и страх другим, то я и открыл в ту же минуту всю проделку. Протоколита комнатку, через двор, в пристройке, освидетельствовали, нашли целый вьюк краденых безделушек, надели ему на шею низку пуговиц, низку из кусочков сахара, – помню, что большого труда стоило нанизать сахар этот, но Иван Яковлевич настоял на своем, – напутали на протоколита ниток, шелку, булавками да иглами прикололи к сюртучишку краденые листки бумаги, ленточки, всякую дрянь и, выведивши его в этом наряде по двору и по всему селу, вывели за околицу и пустили по дороге. Помню, что протоколист просил жалобно: «Что угодно извольте делать надо мной, хоть плетями прикажите наказать, только чести не лишайте, не изгоняйте из дому своего без куска хлеба». Но все просьбы не помогли, протоколита не стало.

У священника выучился я по-русски и еще кой-чему; француз настроил меня на такой лад, что меня забрала страстная охота учиться всему на свете. У него без пути не проходило ни одного часу: сидит за чаем, разговаривает с тобой обо всякой всячине и, шутя, приохочивает ребенка расспрашивать и слушать; какую вещь ни возьмет в руки, придерется к ней и расскажет как делается, где, куда и для чего годится, когда изобретена и прочее. Пойдет гулять с тобой на костылях – ни цветка, ни листика, ни букашки не пропустит, чтобы не заучить, как называется она, в какой разряд и порядок она следует, и почему, и куда, и для чего бывает пригодна. От него я шутя выучился трем языкам. Он с попом нашим был очень дружен – и умел ладить со всеми, даже с Иваном Яковлевичем, и – за что я также век буду ему благодарен, – не давая нам никогда слоняться от безделья из угла в угол, занимал столярной, токарной и картонной работой, выучил немного чинить часы, замочки и прочее.

Таким образом, минуло мне уже семнадцать лет, – да, теперь только вспомнил, что я

ни слова не сказал о второй названной матери моей, Настасье Ивановне Шелоумовой. Грешно бы мне забыть ее, когда вырос я у нее в доме, как сын. Она любила и уважала Ивана Яковлевича как нельзя больше, до такой степени, что, применяясь каждый день к личности, которую он надевал, к роли, которую он играл, и сама того не замечая, также изменялась день за день в правилах, нраве, видах и намерениях своих и слепо шла ощупью за Иваном Яковлевичем. Отставала она от него, противилась, плакала, молила и кричала тогда только, когда он впадал в крайности вредные и дурные, когда находило на него рвение преобразовывать весь мир плетью и палкой. И действительно, тогда Настасья Ивановна брала вскоре над ним верх, и побежденный, образумившись, перескакивал с верхней ступени крайностей своих на вторую и третью, перестраивал лад дудки своей пониже, а иногда гласно и торжественно винился и повиновался супруге своей, проповедуя честь и славу и хвалу женщинам и признавая их естественными наставницами и руководительницами нашими. В такую пору ничего в доме и в хо-

зьяйстве не делалось без спросу Настасьи Ивановны; к ней посылались и дворецкие, и бурмистры, и конюшие, до которых ей, по принятому в доме порядку, не было никакого дела, потому что она не входила и не мешалась ни во что. «Дочерей у меня нет, – говорила она обыкновенно, – бог не дал; стало быть, нет и хозяйства, нет и дела, как только угождать на Ивана Яковлевича; а сыновья растут у него на руках как себе знают». И затем она обыкновенно тяжело вздыхала, покачивала головой, а нередко и плакала. Жалобы, слезы и вздохи были ее стихией; без них она, как казак без коня, как воин без шпаги. Всегдашний ее разговор, с своими ли, с чужими ли, – это было благодарение богу за семейное благополучие свое, но это делалось таким плачевным образом, что, не вслушавшись, можно бы подумать, не поминает ли она какого-нибудь покойника и жалобно ему причитывает. О четырех детках своих она говорила точно таким образом, будто у нее всего одно только дитя за душой, да и то кто-нибудь отрывает от груди ее; о любезном Иване Яковлевиче – будто он разбит параличом и лежит уже на одре

смерти; о порядочном имени, которое с избытком обеспечивало все нужды семейства, – будто сегодня господь дал насущную кроху, а будет ли завтра, кто знает? По этой же причине она всегда говорила умалительными и уменьшительными словами: муженек, муженечек, деточки, детушки, детеныши, деньжоночки, мужички, домишко, огородишко, пашенка и прочее. Она одевалась очень просто, всегда в темное платье, но черного ни за что на свете не шила и не терпела: «Нет, батюшки-светики мои, уж сама на себя лиху беду не накличу».

Иван Яковлевич ходил, по обстоятельствам, в разнородном домашнем платье: иногда можно было, взглянув на него, отгадать, кто он таков сегодня и чем или кем хочет быть. Когда он являлся в халате своем, то это значило, что он намерен быть хозяином, домоседом, отцом семейства; если выходил поутру прямо в сюртуке, байковом или камлотовом, то это значило, что он будет человек крайне деловой и занятой; если же в коротенькой куртке, то это была одна из самых дурных примет и очень походило на распра-

ву со всей дворней; тогда уже холопы толкали друг друга в локоть, и от передней до скотного двора было известно, что барин вышел кушать чай *в куртке*. Если только Настасье Ивановне удавалось стащить с плеч Ивана Яковлевича куртку эту, которая же прилична одним ребятишкам, тогда и гроза проносилась мимо. Но две крайности – вовсе без верхнего платья, в одной только расстегнутой настежь жилетке-, или в щегольском убранстве – показывали, что барин будет отчаянным, молодцом, весельчаком. Щегольское убранство, впрочем, было в ходу только при чужих, когда кто приезжал погостить, и было двоякое: суконный сюртук или даже фрак со всеми к нему принадлежностями или же кофейного цвета венгерка с черными шнурами и прибором. Очевидно, что в первом случае выходил светский щеголь, во втором – лихой рубака, спаситель всех утопающих и сгорающих. Тогда и примерам самоотвержения Ивана Яковлевича не было конца, и он чистосердечно рассказывал, что представил было сам себя к медали за спасение погибавших, когда с отчаянною решимостью погасил руками загорев-

шийся ситцевый полог у постели спавшей жены своей, что не умеют ценить достойных, медали не дали; но умалчивал при этом случае, что он сам и поджег полог этот, заснувши и не погасив свечи. «Следовал бы Владимирский крест, – прибавлял он, – да не совсем приходится по статуту, так уже хоть бы золотую медаль на владимирской ленте дали: ну, нет!» Когда он выходил безо всего, то говаривал, охорашиваясь: «Ничего тут нет мудреного, что Суворов надевал ленту свою на рубашку и так выходил, – дайте мне только ленту, и я ее надену!»

Дети Шелоумовых были не одинаковы: третий сынок был, кажется, в мать, плаксивый мальчишка, четвертый – баловень отца и матери, упрямый и большой шалун, второй, мне ровесник, был хороший, умный малый и один из всех охоч к наукам; с ним мы ладили и жили дружно. Старший был отъявленный негодяй, достойный ученик нашего общего наставника – протоколиста. Он давно уже знал все и умел все и в ссоре с братьями тотчас козырял им старшинством своим и тем, что он один будет наследником отцов-

ского имени, а их устранил и не признает братьями. Отцу он не смел грубить, а матери сказал однажды в глаза, что сожжет дом над нею, если она станет так присматривать за ним, как за маленьким, и не даст ему воли делать что хочет. «Вон у вас есть дитя, – сказал он, указав на младшего, – а я по отце в доме старший». С ним-то, с Сергеем Ивановичем, жили мы очень не в ладах с малых лет. Меня звали Вашей, Башкой или Вашенькой, – он всегда переменял букву а на о и, несмотря на все ссоры и запреты, до последнего дня никогда не звал меня иначе; если у меня было что-нибудь съестное в руках и близко никого из старших не случилось, то Сергей Иванович уж непременно выбьет у меня ломоть из рук и, толкнув его ногой, закричит собаке: «Пиль!» Если я под руководством француза клеивал и расписывал бумажный домик, строил деревянную мельницу, то, бывало, оглянуться не успею, как Сережа, наткнув избушку мою на длинную палку, бегал по улице и кричал: «Кому набалдашник!» – и наконец, выманив меня этим зловецим криком, разбивал работу мою вдребезги, не дав добежать

до него на несколько шагов. Эта же знаменитая палка имела и еще другое назначение: Сергей Иванович караулил где-нибудь в дверях девок и подставлял им нечаянно палку, чтобы они через нее падали. На жалобу я как-то редко решался, драться сам не смел, и если бы не костыль француза, то не было бы мне иногда житья от Сергея. Раза два я ему, однако же, отомстил; я сделал гласный донос на него: первое – за жестокие побои одному крестьянскому мальчишке, у которого сам же он отнял и задушил зайчонка, и второе – за покражу у старосты полтинника. Оба раза Иван Яковлевич пришел мгновенно в такое расположение духа, что целые сутки ходил в куртке, и еще засучив рукава – самый отчаянный знак; оба раза Сергей Иванович был наказан, как наказывают только дворян малолетних, и никакая мольба Настасьи Ивановны высесть лучше для примера одного из дворовых мальчишек, которые вчера еще пролезли в палисадник и рылись в огороде, не помогла. Сережа наказан, и куртка еще целые сутки нагоняла страх на божий мир в селе Путилове. Этого-то мне Сергей Иванович нико-

гда не мог простить; и когда мне уже минуло семнадцать лет, как я упомянул, а ему девятнадцать, то он все еще твердо помнил угрозы свои и готов был вырвать у меня из рук последний ломоть хлеба и бросить его собаке.

Глава IV. От зеленой куртки Ивана Яковлевича до последних фокусов его

Итак, все мы подросли; мне минуло семна-
дцать лет – считая по именинам: дня свое-
го рождения я не знал, – но это сделалось так
незаметно, исподволь, что мы всё еще счита-
лись ребятами и Иван Яковлевич говорил о
том, куда намерен пристроить сыновей своих
на службу, как о вещи еще весьма отдален-
ной. В один вечер, когда у нас съехались кой-
кто из соседей и навезли невест богатым же-
никам, Иван Яковлевич был необыкновенно
в духе, строил проказы на диво, надрывался,
чтобы утешить, насмешить и занять всех, и,
между прочим, провизжал нечаянно так на-
турально щеночком, что Настасья Ивановна
даже от жалости к такой махонькой твари
прослезилась и, глубоко вздохнувши, покача-
ла головой; потом Иван Яковлевич схватил
меня с необыкновенным жаром, вытащил на
середину комнаты, поставил перед себя и, пе-
ребирая пальцами левой руки мне по лицу,

пилил меня правой рукой поперек живота, подражая голосом чрезвычайно удачно контрабасу; эта шутка всех насмешила до слез; но Иван Яковлевич вдруг, закашлявшись и как будто вздумав что-нибудь новое, опрометью побежал из залы в свой кабинет. Все затихло в ожидании; я также, стоя посреди комнаты, ждал приказания, думая, что штуки будут еще продолжаться, и не смея сойти с места. Проходит несколько минут, и все тихо – а в кабинете раздается какой-то глухой и дикий голос; все считали обязанностью хохотать над этой шуткой хозяина, хотя никто еще не понимал, что из этого будет; одна Настасья Ивановна упрашивала только мужа плаксивым голосом перестать, потому что это слишком страшно, и предваряла гостей, что Иван Яковлевич собирается взвыть волком. Голос затих, все снова стали прислушиваться: послышалось сильное хрипение – опять захотали: нельзя же, хозяин тешит гостей, надо благодарить. «Вот, Настасья Ивановна, – сказала одна гостья», – вам не в угоду была та штука, Иван Яковлевич тотчас и другую нашел, заснул, экой проказник!» Затихло и хри-

пение; ждали, больше ничего нет; Настасье Ивановне показалось сомнительно, что-де Иван Яковлевич долго там делает и гостей покинул, пошла в кабинет и сама взвыла волком: Иван Яковлевич лежал на диванчике и простывал уже – с четверть часа, как изволили скончаться.

Итак, бедного Ивана Яковлевича сразил внезапно кровавой удар, и ни следу жизни больше, ни тени надежды. Суматоха сделалась в доме страшная, все теснились в трехаршинный кабинетец; толкали друг друга; бабы подняли вой, истинно волчий, какого покойнику не удавалось заживо подслушать; привезли запыхавшегося мельника, который, как около машинного дела ходит, умел также поставить рожки и бросить кровь; кровь не пошла, но при этом случае все, кто был живой тут, убедились, что покойник приготовил было еще много штук на сегодняшний вечер. Поднесли свечи, стали раздевать покойника, чтобы бросить ему кровь; все теснилось и зорко, пристально вглядывались, сняли перчатку с левой руки – на кулаке написана красками преуморительная рожа, нельзя не

смеяться, при всей жалости. Иван Яковлевич умел закутывать искусно и свивать расписанную таким образом руку, и у него выходил из этого плачущий младенец, которого он качал и убаюкивал, и сам же за него ревел. Сняли фрак – другая штука наготове: положена вдоль спины белая полотняная рубаша – как будто знал, что она ему сегодня понадобится! Это была заветная штука Ивана Яковлевича, которой он никому не рассказывал, только всех ею удивлял, – смерть ему изменила; теперь все вышло наружу! Иван Яковлевич ходит будто ни в чем не бывал и заведет речь, что можно-де с кого угодно снять все белье, а платья не трогать, оно останется сверху. Разумеется, никто этому не верил, но никто и не соглашался при всем честном обществе на пробу, а только спорил, что быть не может. Тогда Иван Яковлевич говаривал: «Ну, так уж и быть, для такого дня, для таких гостей, извольте, я жертвую собой», – и, сняв шейный платок, развязывал обложенный из-за спины воротничок рубахи, расстегивал рукава ее на белых нитяных пуговочках и приказывал кому-нибудь ухватить на затылке ворот рубахи

и тянуть смелее; к общему ужасу и удивлению, рубаха вся выходила этим путем наружу, а фрак оставался на плечах и все платье на своем месте и в порядке.

Но этим еще приуготовления Ивана Яковлевича не кончились: ногти средних пальцев были у покойника, покрыты слоем желтого воску для отличного фокуса с серебряными пяточками; из кармана жилетки выкатился свисток, которым Иван Яковлевич, бывало, дразнит соловья; словом, покойник был этот день весь на фокусах, и, глядя на все это, можно было усомниться: не фокус ли и это холодное чело, бездыханная грудь и сердце без боя?

Но нет, это был не фокус; все там будем, как заметил при этом случае староста, – кто прежде, кто после! Мы осиротели, не успев и подумать о сбыточности такого горя, не испытав ни одного мгновения страха, боязни и надежды у изножья его одра. Я плакал горько; соленая, едкая слеза текла по щеке и растревляла царапину, которую провел тут невзначай живой Иван Яковлевич, когда играл на контрабасе; я потирал ее рукой, и плакал, и оглядывался: мне казалось, благодетель мой

еще стоит за мною, и пилит меня по брюху, и царапает пальцами по лицу, – а труп его лежал уже передо мною!

Это был вообще первый покойник, которого мне сыздетства случилось так близко видеть; я не мог верить, что благодетеля моего нет; он живой был еще слишком близок ко мне. Я остался при покойнике и прорыдал всю ночь; дьячки читали однообразным, глухим полуголосом, француз сидел в углу на креслах, сложив руки на положенные поперек перед собою костыли; дети Ивана Яковлевича плакали, кроме Сергея, который скоро утешился; Настасья Ивановна всю ночь пролежала на полу ничком, вопила и выла, припоминая и причитывая все добро, которое видела от супруга своего, и окончивала всегда вопросом: «А кто мне теперь будет...» и прочее. Дворня в первую минуту с пронзительным воем бросилась в барские покои, но вскоре угомонилась, кроме нескольких баб, которые остались помощницами при Настасье Ивановне. Мужики приходили из села беспрестанно, входили тихо и чинно, вздыхали, крестились молча и опять уходили. Бабы все

любопытствовали только взглянуть на лицо покойника, посмотреть на него, больше им ничего не нужно было. На третий день были похороны, к коим вдруг явился, откуда ни взялся опять, наш протоколист, которого мы не видали уже несколько лет. Он так ел за поминовальной трапезой, будто он во все годы эти не брал в рот ни крохи во ожидании такого сытного случая.

Глава V. От последних фокусов Ивана Яковлевича до казенного добра, которое не тонет и не горит

Начинается правление Сергея Ивановича, Старшего наследника, потому что в междоусобице, до назначения и приезда опекунов, прошло много времени; а во все это время правил делами и хозяйством он один. Правление это ознаменовалось тем, что протоколист снова поселился в доме и остался правою рукою нового хозяина, что француза согнали со двора, а отца Стефана, который прежде бывал ежедневно, не стали пускать в дом. Все приметы хорошие. В первый раз отроду пришла мне в голову мысль о том, что со временем из меня будет? Какой мне путь открыт в мире, какое мое назначение? Сильно овладела мною эта забота, отбивала ото сна и еды, и я пошел отвести душу к французу, которого взял к себе в дом на время священник. Первый потрепал меня по щеке и сказал мне по-французски то место из евангелия, где ска-

зано, что каждому дню подобают заботы свои; а отец Стефан, кивнув головой, проговорил то же по-славянски. Я просидел у них долго, они утешали меня много – но не утешили; никто из них не мог решить моего сомнения и сказать мне что-нибудь положительное. Я не думал тогда, что судьба печется обо мне уже по-своему и что будущая участь моя решается в эту самую минуту в барском доме.

Протоколист шнырял всюду, наставлял и поучал Сергея Ивановича и, рывшись в конторе, открыл нечаянно, что покойный барин приписал меня при последней народной переписи, когда я был еще по другому году, в свои крепостные и дворовые; с этою вестью, с ревизскою сказкою в руках, поспешил он к нынешнему своему покровителю. Взявши меня круглым сиротою в дом, Иван Яковлевич, вероятно, нисколько не призадумался пристроить меня к своей дворне; ребенок взят еще сосунком, вскормлен, – своих у него нет, здесь он чужой, – куда же его больше девать, как не в дворовые? Когда же впоследствии сделали из меня полубарича, то Иван Яковлевич, как сказывала после Настасья Ивановна,

намерен был дать мне отпускную; но времени впереди казалось еще много, ребенку ведь все равно, куда он приписан и где числится, а вырастет – успеем отпустить. Так думал Иван Яковлевич, да не так вышло!

Не успел я воротиться от священника, как малый прибежал за мною звать меня к Сергею Ивановичу, который уже перебрался в покои старого барина. В углу стоял подобострастно протоколист; дурная примета, подумал я – и не обманулся. Сергей Иванович, назвав меня в первый раз отроду не исковерканным именем моим, Вакхом, продолжал: «Я привожу после покойного батюшки дела в порядок и подумал также о тебе. Вот, видишь, ревизские сказки, в которых ты значишься сыном тогдашней скотницы нашей Катерины и должен служить господам своим не хуже другого. Полно тебе жить дармоедом, это стыдно и грешно. Надеюсь, ты помнишь все наши благодеяния и постарайся их заслужить; я на первый случай не помню тебе старых твоих грехов. Бывшего старосту я сменил, а новый безграмотен, да и мало привычен еще к делу; будь же ты у него помощником да

слушайся его во всем, а не то, если не подорожишь моею милостью, так будешь у меня свинопасом. Ступай, жить можешь покуда в конторе».

Все это меня так озадачило, что я опять в ту же минуту пошел на суд и совет к отцу Стефану. Француз стучал костылями в пол и грозил кулаком на воздух, а отец Стефан, выслушав все спокойно, пошел сам в контору за справкой. Она подтвердила все; меня приписали шестнадцать лет тому назад, забыли про это или оставили без внимания; так я и рос, и никто об этом маловажном обстоятельстве не заботился. Просьбы священника у Настасьи Ивановны не помогли, а рассердили только Сергея, которому мать не смела указывать; братья его и подавно были безгласны, он всех их рвал за уши и грозил сечь; тоже досталось и второму, Николаю, который ходил за меня просить. Таким образом, участь моя была решена. Француз успокоился, когда нечего больше было делать, и учил меня переносить свою судьбу, удерживая от всех дурных замыслов и покушений, которые иногда ройлись в моей бедной голове, — как, например,

от побега, на который я однажды было почти решился.

Быть крепостным – это но себе еще не так велика беда; да мое-то положение было нестерпимое, и если б не отец Стефан да не француз, я бы себя погубил. На что же мне дали это образование? Приписали – так и оставили бы у Катерины на скотном дворе, и я бы пас свиней да плел бы лапти не хуже другого, а теперь тяжело. Как помощник старосты записывал я бирки его, стоял по целым дням и считал снопы, когда молотили для пробного умолоту; объезжал пашни, околицу, стоял с хворостиной, когда пахали не на урок, а по дням, и был вообще на посылках, вроде десятского; бывало, в темную, грязную ночь идешь от избы до избы под окном, постучишь и наказываешь по наряду старосты, кому куда с зарей на работу. Вот в чем состояли занятия Вакха Сидорова Чайкина, попавшего из полубар чуть не в свинопасы.

Но всего этого Сергею Ивановичу было мало, он, видно, решился dokonать меня, стал налегать со дня на день больше. Немного все-таки совестно было ему перед всеми живыми

людьми; делал я все, что ни заставят, и уж жалоб на меня не было никаких – а я видел, чего ему хотелось; он таки не шутя хотел понемногу поднять меня до чину свинопаса, и хотелось ему непременно меня посечь. Француз всегда умел меня утешить и успокоить, во всех обстоятельствах давал положительные советы, что делать; но когда я ему предложил однажды последнее обстоятельство на разрешение, тогда он замолчал и стиснул только зубы, повел бровями и пожал плечами. Ответа я долго не мог от него добиться; наконец он сказал: «Делай что сам знаешь», – и, встав, пошел раскачиваться по маленькой светлице на костылях.

Но господь сохранил меня и не допустил до этого; иначе, может быть, теперь лежал бы на душе моей большой грех. Тут случилось вот что.

Как теперь помню, в воскресенье поутру, когда мы выходили от обедни – а в деревнях, как вы знаете, обедня и начинается и оканчивается рано, – зазвенел вдруг на конце села колокольчик, поднялась пыль, летит тройка. Ну, это, уж конечно, никто как исправник, В

деревне это событие не последнее; исправник без дела не приедет, всем хочется знать, за чем он приехал, и барские холопы всегда уже по два и по три стоят, упершись головою в двери, и подслушивают, о чем идет речь. Я от обедни пошел с отцом Стефаном к нему на дом, а через полчаса вдруг шась в двери названная мать моя, старуха Катерина. Она вошла запыхавшись и с каким-то особенно таинственным видом, помолившись, прокашлявшись и поздоровавшись, рассказывает в отчаянье, что исправник приехал за мной, что меня берут в солдаты. Долго не могли мы добиться толку у старушки, которая едва успела отвести дух, как залилась слезами и начала причитывать по мне, как по покойнике: «А ты радость моя, а ты ненаглядный мой, а ты красное солнышко мое...» и прочее. Когда батюшка побранил ее и успокоил, а француз в нетерпении прикрикнул, стукнув костылем в пол, то она так же несвязно и бестолково, хотя во всей подробности, рассказала, что Андрюшка стал было подслушивать у дверей кабинета, куда барин ушел с исправником, да барин увидал, и взял Андрюшку за

чуб, и ударил лбом в косяк, и отбил Андриюшке охоту подслушивать; там Ефишка с Ванькой подошли немного погодя на смену и кой-что слышали-таки, да барин опять вдруг выскочил, и ухватил их обоих за чубы, и долго колотил лоб об лоб; между тем, однако же, Андриюшка отдохнул, оправился и снова подкрался со щеткой в руках, на случай прикинуться, будто что подметает; и все они вместе слышали, что исправник приехал за мной и берет меня в солдаты.

Как ни была для нас троих, отца Стефана, француза и меня, весть эта непонятна, потому что нельзя было тут добиться никакого толку и смысла, однако она всех нас крайне обрадовала; это была одна из счастливых минут жизни моей, и я не смел дать полной веры словам моей старухи. «Коли быть мне битым, – сказал я, – так пусть бьет меня государев чин, а не Сергей Иванович». Француз был просто вне себя от радости; батюшка поздравлял меня с отдачею в солдаты, как поздравляют близкого человека с чином генерала. Помню все это как теперь: я стоял среди комнаты, сложив руки, выставив ногу вперед, и, кажет-

ся, старался придать себе солдатскую осанку; батюшка передо мною, в праздничном под-
ряснике своем и положив правую руку на
грудь, уверял меня в своей искренней радо-
сти, в милости господней и непостижимости
промысла его и косился немного на француза,
который вскочил с места, стоял на одном ко-
стыле, другой вскинул на плечо вместо ружья
и, потряхивая молодецки головой, пел изо
всей силы: *T'en souviens-tu* [3], столь извест-
ную военную французскую песню. Между тем
попадья выглядывала любопытно из-за пере-
городки, со сковородником в руках, а старая
Катерина выла от всей души и уже ни на кого
более не глядела.

И действительно, я в тот же самый день
вечером сидел уже с писарем исправника на
особой тележке и мчался в уездный наш го-
род. Мне, как водится, хотели набить на ногу
колодку, но отец Стефан упросил исправника,
поручившись за меня и снабдив меня на до-
рогу пирогом матушкиного печенья. Француз
простился со мной как солдат с солдатом и
дал мне три целковых – у меня, разумеется,
не было ни гроша. Настасья Ивановна плака-

ла, прощаясь со мной, вспоминая покойного своего сожителя, и благословила меня образочком; Николай Иванович также заплакал и обнял меня, Сергей же сам не видался со мной, а велел только отобрать у меня платье и обувь и дать сапоги и зипунишко поплоче, из домашнего сукна.

Я уже было думал, что Сергей Иванович меня отдал в солдаты, хотя и не понимал, для чего это сделалось таким необыкновенным порядком; во всяком случае, я благословлял судьбу свою. Никто не взял на себя труда объяснить мне загадку эту, один только Николай сказал мне, что меня берут по указу губернского правления. Что же я за важный человек, что обо мне правление пишет указы, и почему и за что? Я уже боялся ошибки, боялся, что меня опять обратят, когда писарь исправника, попутчик мой, объяснил мне все дело.

Отец мой, как я сказывал, отправился из Комлева в Лебедянь на ярмарку и пропадал без вести более году. Я родился во время отсутствия его, вскоре после отъезда, и мать сама поехала со мною отыскивать отца. Она,

бедная, и не знала того, что ему там давно уже лоб забрили и что она солдатка, а сын ее кантонист. На пути сказали ей знакомые, встречные извозчики, что муж ее, слышно было, никак в тюрьме помер; вслед за тем и сама она в Путилове богу душу отдала, а я на грех остался. Казенное добро в воде не тонет, на огне не горит; через восемнадцать с лишком лет меня доискались и велели поставить на службу. Каким случаем отец мой угодил в солдаты, этого писарь не знал.

Глава VI. От казенного добра, которое не горит, не тонет, до преглупого покроя платья

Рассказал бы я, как еще одна добрая душа поплакала за мною в Путилове, как она стояла на пороге избенки, под мельницей, накрыв глаза левою рукою и ощипывая правою цветную завязку на рубашке своей, да не хочу докучать читателям. Она же недавно тогда помогала отцу таскать порожние мешки на мельницу, и вся, от головы до ног, припудрена была мукою. Огромное колесо ворочалось мерно, шумный стрежень воды прядал с лопасти на лопасть, вся мельница дрожала, гул отдавался далече, а вблизи петух, похлопывая крыльями, кричал во все горло, и его не было слышно; только было видно, что вытянулся и клев свой разинул. А колесу какое до чего дело? Оно знает свое, служит мельнику верно, покуда все клепки не рассыплются. Пожалуй, хоть голову подставь, и ту измочалит, и все будет вертеться по-прежнему. Его не разжалобишь.

В первый раз отроду увидел я, каков был свет за Путиловской околицей; уездный городишко наш с каменными присутственными местами показался мне столицей, а губернский поселил во мне такое уважение, что я легонько ступал по тропинкам улиц его, не смея развязно и свободно ходить. Тут я получил письмо от француза, который писал мне, между прочим, что Катерина все еще не отчаивается исходатайствовать мне свободу от службы и что протоколист взял у нее на этот предмет целковый. Она шла своим путем – верила только всякому вздору и обману, верила протоколисту, а не слушалась советов отца Стефана не давать этому отъявленному мошеннику по-пустому денег.

Меня через внутреннюю стражу сдали в полк и привели к присяге. Страшна показалась мне присяга эта, и я перечитывал ее несколько раз после. Слова: *не щадя живота своего, до последней капли крови* – придавали мне, однако же, какую-то бодрость, и я расписывал воображением своим разные случаи, когда доведется мне исполнить на деле клятву эту. Полк вскоре выступил в поход, как

слышно было – в Италию, но все это оказалось ложною тревогой; войска размещены были в южных губерниях на квартирах, и храбрость моя, не остывшая во время перехода восьмисот верст пешком, с ружьем и ранцем, начинала остывать теперь от скуки и безделья. Между тем офицеры заметили меня и уже несколько в обращении своем отличали; а когда однажды рисуночек мой дошел случайно до полковника, то он призвал меня, поговорил со мною, расспрашивал обо всем, и, наконец, в угоду полковнице, которой рисунок этот по вкусу пришелся, так что она много над ним смеялась, велел мне объяснить, что такое все эти лица и где они? Оговорка моя, что это будет долгая сказка и в связи с прежними приключениями моими, не помогла; полковница требовала непременно моих пояснений и села на стул, как будто собиралась меня долго слушать. Я рассказал, что тут дворецкий приволок меня со скотного двора, а холопы подают уже скамейку и розги, и меня собираются сечь за то, что третий сынок Ивана Яковлевича воткнул сальный огарок в отцовскую пенковую трубку; четверо

баричей стояли рядом и лесенкой, один под одним, вплоть у скамьи; Настасья Ивановна, отстояв детенышей своих, спокойно уходила из комнаты, принявшись уже за свою работу, за веретено; Иван Яковлевич стоял в зеленой куртке своей, грозный, величественный, держал распущенный клетчатый платок в руке и указывал тою же рукой на третьего сыночка своего, будто бы говорил: «Это, шельменок, следовало бы тебе, принимай на свой счет, гляди, уж я его не пожалею!» Все четыре сыночка ревели, глядя прямо на отца и не закрывая лица руками, — такой их обнял страх, — а с меня огромный дворецкий тащил на лету и без того уже изодранные шароваришки, между тем как двое холопов напереыв старались уложить меня и подняли в воздух. Все это делалось с таким усердием, что, казалось, они изорвут мальчишку на клочки, а Ивану Яковлевичу доведется сечь одну скамейку. Картинка эта всех много позабавила; полковник хохотал, полковница смеялась почти до истерики, две свояченицы также, и вдруг все стали говорить обо мне между собою по-французски: сожалеть обо мне, хва-

лить пристойную наружность мою и умалить полковника, чтобы он принял во мне участие. Мне совестно было слушать все это, и я сказал полковнику, что разумею по-французски; это породило еще более любопытства: со мною заговорили и заставили рассказать на этом языке вкратце похождения свои. Все обступили меня, стояли вокруг меня, глядели во все глаза, как на диво какое, на зверя, тюленя морского, и не могли натешиться, надивиться, что человек говорит на двух, трех языках и играет на фортепьянах; а почему? потому что человек этот стоял навытяжку в солдатской шинели, не смея развести рук, и приговаривал за третьим словом: «Ваше высокоблагородие». Приди он в каком угодно ином платье, и все это не показалось бы ни сколько удивительным. С этого дня судьба моя изменилась. Полковник, который принимал у себя и юнкеров своего полка с большой разборчивостью, вскоре велел мне ходить к себе обедать каждый день. Я охотно занимался ученьем детей его, тем более что приобрел тут же и еще ученицу в рисованье – ученицу, о которой поговорим после. От писарской

должности я отказался, желая служить, коли служить, во фронте, и ходил во все наряды наравне с прочими солдатами, а свободное время проводил у полковника. Он приближал меня к себе понемногу и с большой осторожностью; видно было, что он хотел наперед меня испытать, увериться, таков ли я, каковы были мои слова; но менее чем через год я был в доме свой, а через два – мне нашили галуны. Полковник показал мне представление, в коем, несмотря на короткий срок службы моей, просил убедительно о производстве моем, в том уважении, что в полку-де не было ни одного офицера, каков этот рядовой. Пусть это и была одна только фигура убеждения, но она показывает, как любил меня полковник.

Положение мое при всем этом было очень странное: мне, как солдату, всякий говорил ты, начиная от полковника и полковницы и до денщиков, одни только горничные были вежливее, называли меня всегда кавалером, почтенным и Вакхом Сидоровичем. Навытяжке перед каждой парой эполет, я с дамами полковничьими был как со своими; да лих не свои, и не в свои я сани сел!

Раз как-то нарядили меня с тремя рядовыми в конвой за пойманными бродягами, которых отправляли в земский суд. Дорогою один из конвойных пустился в расспросы, кто из них, из арестантов, откуда родом. Я только было оборотился назад, чтобы велеть солдату молчать и не разговаривать с арестантами, как услышал, что один из них отвечал: «Из Комлева». Из Комлева, с родины моей! Я подумал с минуту и стал сам его спрашивать, и сколько помню, один только этот раз во всю службу свою погрешил я заведомо против присяги своей – каюсь, но не раскаиваюсь. Я спросил: знавал ли он в Комлеве мещанина Сидора Чайкина или жену его Марью? «Как не знать, – отвечал он, – годов тому будет с двадцать, я у них сына крестил». – «Какого сына?» – «Такого сына, как бывают они: Вакха. Сидор в те поры уехал по торгам, а мне и наказал быть крестным отцом, коли родится у него сын; оно так и случилось». И комлевский бродяга оказался крестным отцом моим; он сказал мне, что я родился 1 марта, а отец мой был отдан в солдаты того же году, во время самой Лебедянской ярмарки – следовательно,

около троицы или покрова, то есть, во всяком случае, позже, летом или осенью. Обстоятельство это, по-видимому пустое, было для меня довольно важно: если показание крестного отца моего справедливо, то я не кантонист, не солдат, а свободный человек.

Проводивши крестного отца своего в кандалах куда следовало и давши ему целковый на дорогу, я, как воротился, пошел к полковнику и объяснил все. Там слушали меня с большим участием, полковник сказал, рассмеявшись: «Видно тебе, брат, чудеса такие на роду написаны, а между тем надобно списаться».

Полтора года после этого случая, всего после четырех лет службы моей и на двадцать втором в исходе от роду, получил я чистую отставку, как неправильно записанный на службу. Рад ли я был отставке? – спросите вы. Да что же мне было делать? Тянуть ляжку до прапорщика оставалось мне еще десять лет; склонность моя влекла меня к наукам, а здесь – конечно, также наука, да не та. Ходить в замке, во взводе, я выучился, да это меня не тешило. Итак, в отставку: ружье и ранец в

сдачу каптенармусу, а фрак – подарок доброй полковницы – на плеча. А верите ли, когда пришел я в амуничник сдавать казенное добро, так ружье свое повертел в руках и призадумался над ним; кажется, если бы я с ним сходил в славный поход, не на шутку тяжело было бы с ним расстаться. Преглупым платьем показался мне теперь наш фрак, даже после солдатской шинели: венгерка, куцая куртка моего покойного благодетеля, право, гораздо толковее.

Глава VII. От преглупого покроя платья до попутчика

Куда мне деваться теперь и что мне начать я еще не знал; небольшие деньжонки у меня были; житье у полковника мне было веселое, ничего не стоило, и я сначала никуда не торопился. Я тешился вольной волей своей, и тут мне было хорошо. Полковник и милые хозяйки строили иногда со мною планы о будущности моей – все это казалось еще далеко впереди. Нет, далеко от нас только прошлое.

Ученица моя, о которой я упомянул выше, была меньшая свояченица полковника, Груша. Видно, необыкновенные похождения мои, нынешнее звание, конечно несогласное со степенью данного мне образования, и другие обстоятельства и случайности возбудили в ней живое ко мне участие. Как девица военная, она привыкла и ко всему быту этогословия, к подчиненности солдат ее полка, к услужливости их – но такой солдат, как я, ей, конечно, еще не попадался; немножко живое

воображение ее расписало ей взаимное положение наше красками романическими; я был молодец вовсе неопытный по этой части и, коротко сказать, ничего не думал и ни о чем не думал, как едва не дожил до того, что и думать было поздно. Обыкновенно связь и дружба подобного рода, если она возрастает до известной степени, оканчивается тем, что молодые люди начинают говорить друг другу наедине *ты*; здесь наоборот: Груша начала меня тем отличать, что говорила мне, когда никто нас не слышал, *вы*. Я принялся жить, когда вышел на свет, за околицу Путилова, с таким жаром и рвением; я видел столько прекрасного впереди и, кроме хорошего, видел иногда только смешное, а дурное забывал – я жил и дышал с такою свободою и самоуверенностью, несмотря на незавидный жребий свой, с такою простотою и недогадливостью, с такою чистою совестью, что шел бодро и без оглядки вперед, думая: «Все хорошо, как оно есть»; и беречься, остерегаться я не умел, тем менее мог я уберечься от такой беды, какая мне тогда грозила, – попирать ландыши на пути ногами, когда, казалось, безгрешно мог

ими радоваться и утешаться. О последствиях не было у меня никакого понятия, мы с Грушей только очень подружились. Не хотелось бы докучать вам, а не могу и отстать так сухо от этого заветного предмета. Полковница, конечно, давно видела неуместную дружбу нашу, но ей нас было жаль обоих, и она считала все это ребячеством.

Вслед за отставкой моей один из капитанов того же полка посватался на Груше; это наделало такой суматохи в доме, что тайна не могла остаться без объяснений. Разумеется, что я никогда не смел и подумать о браке с Грушей, и действительно, мысль эта никогда мне в голову не приходила; но она отказала жениху, которому, по всем соображениям старшей сестры и зятя, отказывать не следовало. Грушу никто не неволил, а хотели только допытаться о причине отказа; но, кроме слез и заклятий, что она никогда замуж не выйдет, ответу не добились. Все это, однако же, произвело во мне и в ней, без всякого об этом предмете разговора, такую видимую для всех перемену, что никому не трудно было разгадать загадку; полковница воспользова-

лась первым случаем, чтобы со мною об этом переговорить.

Она сделала это очень тонко и искусно, с женским уменьем и изворотливостью, и спросила меня, что я об этом думаю. Никогда в жизнь мою не испытал я такой пытки, и за себя и за Грушу. В эту минуту только очи мои прозрели. Я отвечал наконец, что ничего не думаю и думать не в состоянии, просил ее думать за меня и без всяких обиняков приказывать мне, что теперь делать: я готов на все безо всякой оговорки или исключения. «Кажется, – прибавил я, – если я только в этом омуте что-нибудь вижу, кажется, мне должно ехать сегодня или завтра».

– Должно, – отвечала она. – Чувства ваши, которые вас никогда в жизни не обманывали, и теперь остались вам верны. Не осуждайте нас за это: поживите еще немного на свете, так чтобы вы могли оглянуться назад, на происшествие это, и, право, вы нас оправдаете.

Разумеется, что отставной унтер-офицер свояченице полковника своего не жених; об этом даже с устранением всех светских предубеждений толковать нечего. В ту же

ночь я сел тайком на нанятую двуконную подводку, оставив полковнику и полковнице по письму, и ускакал по ближайшему пути на почтовый тракт. Мне и теперь еще больно, что я должен был оставить полк свой и дом полковника, этот приют мой, убежище и рай, таким бесславным образом. Зачем не мог я расстаться с этой семьей, как послушное и доброе дитя, выходя на свет, покидает дом родительский?

От француза, с которым я постоянно переписывался, получил я письмо перед отъездом; в Путилове произошли большие перемены: там давно уже наехали опекуны, приняли имение, сдали его вскоре опять Сергею, за совершеннолетием его, и наехали уже опять другие, потому что имение было отдано в опеку за дурное обращение помещика с крестьянами. Добрый француз мой нашел спокойное место у соседнего помещика.

Выехав на столбовую дорогу, я поудержал прыть свою и не стал закладывать себе парных подвод, а сел и выжидал попутчика. Надобно, однако же, вам сказать, куда я ехал; последнее похождение мое заставило меня по-

думать толком и основательно о будущности моей. Будь я без всякого чину, просто ничто, так бы тут заботиться не о чем, как о деньгах; деньги есть – все будет, и жить на свете можно. Но отставной унтер-офицер – это звание отводило мне место по чину в харчевне, в кабаке, на толкучем и под качелями, а во всякое другое общество двери для меня не отворяются. Так ли я был воспитан, того ли мог желать? Повторю еще раз, оставь меня на скотном дворе, у Катерины, и я бы пас свиней и был бы счастлив, когда у меня брюхо набито, но если уж раз сделали из меня человека с другими понятиями, чувствами и потребностями, тогда я не могу, не в силах довольствоваться панибратством черни. Итак, что мне делать, каким родом сбыть этот камень преткновения, чин? Идти служить – много воды, может быть, утечет, покуда дослужусь до первого офицерского чина. Остается другое средство: идти учиться; учиться я бы рад был не только за чин, а отдал бы его, если б он на мне был; у нас же дают за это чин в прибавку, только выучись чему-нибудь! Дело решено: еду в Питер, буду зарабатывать чем могу на-

сущный хлеб свой – живут же там и другие люди – и стану учиться в академии [4] или в университете. Комлев, родина моя, лежал от прямого пути не более сотни верст в стороне; чего бы мне, казалось, там искать? Ни своих, ни даже чужих, которые бы могли помнить меня, – да как же не взглянуть, хоть мимоходом, на колыбельку свою? Потянуло меня туда. Выехав на большую дорогу, стал я у крестьянина, обошел постоянные дворы, завернул к стационарному смотрителю и обещал всюду на водку, если кто найдет попутчика, который бы согласился подвезти за сходную цену отставного служивого. Узнаю, что на станции впереди есть какой-то барин, который также ждет попутчика, и тотчас отправляюсь туда.

Глава VIII. От попутчика до чемодана, в котором добра немного

Нахожу видного молодого человека, который стоял, сложив руки в карманы, перед открытым окном и напевал, звучно заливаясь: «Соловей мой, соловей», а вслед за тем перешел он к «Vive Henri quatre» [5]. Смотритель обрадовался мне и просил увезти этого постояльца, который хозяйничает тут уже дней десять и надоел ему горше редьки. «А я было думал, он меня подвезет?» – сказал я. «Ну, там уж как себе знаете, – отвечал тот, махнув рукой, – только убирайтесь, пожалуйста, отсюда».

Молодой человек – лет ему было, однако же, под сорок – очень обрадовался товариществу моему, сказал было, что ему надо ехать в Киев, но в ту же минуту согласился ехать со мною и на Комлев, уверяя, что это ему все равно, – хотя это было так же равно, как и направо и налево, назад и вперед, – мигом приказал закладывать лошадей, что смотритель

исполнил с отменным удовольствием и поспешностью; тот бросил в телегу легонький и крошечный чемоданчик и, взяв порожнюю трубку в зубы, сидел уже, поджав ноги, на телеге и распевал оперные арии. Все обстоятельства эти, конечно, должны бы были надумать меня, с кем я связался, но, на беду, он спросил меня тотчас же, не говорю ли я по-французски; я, как отставной унтер-офицер, думал повесить себя в глазах его на чин, показав образованность свою, — и на этом-то лощеном языке он так благородно и заманчиво умел убедить меня во всем, заставить встречать все его желания с предупредительною вежливостью, что я, несмотря на какое-то внутреннее беспокойство, был не в силах ему в чем-либо отказать, даже показать малейшую недоверчивость. Нет, по-русски он бы меня не надул, а по-французски обморочил, зачаровал. Это был такой тертый калач, какого мне в жизнь мою более не случалось видеть. Очень смуглое, сухое, но широкое лицо, черный щетинистый волос и брови, огромные бакенбарды, огромные белки, прямой, умеренный нос, резкие черты и очень выра-

зительная игра мышц и движений в лице. Когда он улыбался иронически и скривив немного рот, насупив противоположную бровь и выглядывая исподлобья, то нельзя было не смеяться в душе, не почувствовать привязанности и уважения к этому немому проявлению ума и остроты. Широкие плечи и молодецкая осанка, какое-то ловкое уменье красоваться непринужденно во всяком положении тела и еще не знаю что, какая-то невидимая безделица, сноровка в простой дорожной одежде его придавали ему что-то благовидное, укрывали от глаза простого зрителя, не наблюдателя, скудное состояние крайне изношенного платья. Смотритель потребовал, кроме прогонов, сколько-то рублей с копейками за кой-какие съестные припасы, забранные попутчиком моим у него в первые дни квартирования, – в последние же, как видно, он хлебал молоко в долг в разных крестьянских дворах, и три бабы явились у подъезда со своими требованиями. Попутчик мой, не обращая ни на кого из них ни малейшего внимания, разговаривая со мною, достал свой бумажник, вынул оттуда маленькую карти-

ночку и, подавая мне ее с повозки, сказал, все по-французски: «Вот этот город, где я был так счастлив, *l'alma cittadiRoma* [6], я его всегда ношу при себе, – если вы охотник до хороших очерков пером в три тени, в чем я не сомневаюсь, судя по образованности вашей, то возьмите листок этот себе, теперь я сам скоро там буду. Потрудитесь удовлетворить этих скотов: у меня в бумажнике одни крупные ассигнации, тут конца не будет расчётам – сядем и поедем, пора, там сочтемся».

Теперь я понял все; но попутчик мой был так мил и развязен, что я не нашелся, как тут поступить иначе, а заплатив деньги, сел, поехал и, несмотря на всю любезность и разговорчивость продувного товарища своего, твердо решился везти его не далее одной станции. Я и сам был так беден деньгами, что не отдал бы их в эту минуту и доброму человеку в нужде, а тут... бросить в воду!

Приехали на станцию; попутчик очень зорко вглядывался в меня, и все болтал, несмотря на молчаливость мою, и, закричав, чтоб скорее закладывали лошадей, ухватил меня с каким-то дружеским толчком и урыв-

кой под руку, и повел скорыми шагами ходить; он все болтал и вдруг, покинув меня, извинился, сказав, что сию минуту будет, и ушел, повернув за угол, за ближний крестьянский плетень. Я решился сказать смотрителю, чтобы он ведался с другим проезжающим, который велел закладывать, а я не поеду на почтовых; сам же, похаживая взад и вперед, ждал своего попутчика для объяснений.

Проходит четверть часа, полчаса – его нет; иду его искать – нет нигде. Тем лучше, подумал я, какая мне нужда об нем заботиться, и пошел искать себе дешевую подводу или крестьянина-попутчика – но оно вышло не к лучшему; товарищ украл у меня из кармана, видно в то самое время, когда подхватил меня довольно бойко под руку, мой бумажник и пропал с ним, как в землю провалился, среди белого дня; все поиски мои, все старания смотрителя, которому я обещал награду, остались тщетными; ямщики бегали по деревне, скакали по всем дорогам: нет его. Он, видно, смел уже по лицу моему, что я его далее везти не намерен, и взял свои меры.

Не учиться стать было мне идти пешком: я

надел заслуженную солдатскую шинель свою, продал смотрителю и содержателю постоянного двора за бесценок три четверти пожитков своих, навьючился остальным и пошел, ответив только смотрителю, который спросил, указав на чемоданчик попутчика моего: «А это же что у вас?» – «Это не мое». Вероятно, там добра было немного. Я даже не оглянулся.

Глава IX. От чемодана, в котором добра немного, до фортепьян с турецким барабаном

Мой паспорт об отставке послужил мне на пути, до самого Комлева, вместо бумажника; отставному солдату, который шел на родину, на пятистах верстах не отказали в пище и ночлеге ни в одной деревне. Мало того: когда меня захватила на пути ранняя зима, то к ночи и в непогоду мужики не выпускали меня из села: «Там свалишься где-нибудь, – говорили они, – да замерзнешь, выпив на дороге, а после за тебя отвечай; ложись, служивый, да отдохни, сделай милость, завтра накормим и отвезем тебя, нарядим подводу, только бы невредимо выпроводить из околотка. Мы и то теперь еще не оклемаемся с третьего году, как, спасибо, соседи черепановские кинули на нашу межу какое-то мертвое тело: словно вся деревня на два года к земским в кабалу пошла. Тут приставили из села в рабочую пору караул, ровно добро какое

стеречи, да держали недели три; тут весь суд выехал и стали по квартирам, и корми их курицами; тут заковали того, чья пашня на меже, где нашли покойника, да и всех по очереди перещупали, у кого была запасная скирда на гумне. А чего, покойник этот уж им больно знаком; его исправник из того уезда, ровно в подарок, нашему прислал, перетащил через границу, взявши там, что пришлось, с мужиков; да вот с веревкой на шее таки, покуда не рассыпался весь, и ходил все с межи на межу. Уж мы, брат, наплакались тогда; так сиди, сделай милость, служивый, и не пустим до утра, хоть как хочешь».

Добрался я до Комлева; отлегло мне вдруг, отошло от сердца, ровно клад какой дался, – а не все ли мне равно тогда было, что Комлев, что Тамбов, что Ирбит? Чужой всюду; случай, однако же, послужил мне не только отыскать в первый же день домишко, в котором я родился, но и поселиться в нем у добрых, хотя очень забавных и странных людей и пожить с полгода спокойно; без гроша нельзя было идти в столицу, а в Комлеве нашел я вскоре учеников и стал учить всему на свете. Горек

хлеб учительский, да делать было нечего; рублей двести, за очисткой расходов, надо было заработать.

Хозяин мой был также учитель, музыкант, разумеется единственный в городе, как учитель и как бальный оркестр. Голосу у него не было, он говорил осиплым шепотом и рассказывал каждый день по нескольку раз, что он голос потерял на пожаре; но зато играл он на всех инструментах в мире, не только поодиночке и порознь, но и на всех вдруг. На вечеринки являлся он за целковый, обвешанный с ног до головы целым оркестром, и играл всю ночь напролет. Когда он упражнялся однажды дома на девяти инструментах вдруг, переняв это от какого-то проезжего фигляра, то сделался пожар, дом вдруг обхватило пламенем; музыкант до того испугался, что выскокил на улицу с девятью инструментами, привязанными в разных местах тела, бегал с этой музыкой по улице и не мог долго от нее отвязаться: бубны гремят, тулумбас за спиной стучит, потому что к локтю привязана палка, тарелки между колен бренчат – словом, тревога страшная. Растеряв по улицам все инструмен-

ты свои, он надседался два часа криком на пожаре; был несколько раз окачен с ног до головы водой, сильно простудился и с той поры остался без голоса. Человек этот был, казалось, природою назначен в музыканты: ноги как флейты, губы как раструб кларнета, руки ровно смычки, а сам настоящий виолончель. Притом щеголь; коли в праздник уберется, наденет жилетку с разводами и стеклянными пуговками, а голубой фрак откинет – настоящий расстегай, до которых он был такой страстный охотник. Он всюду слышал и видел музыку: зазвенит ли стакан, брякнет ли серебряная ложка, он откликается из третьей комнаты октавой; знает наизусть звук всей домашней посуды своей по камертону и мне жаловался однажды, что у него одна кастрюля фальшит, если не долить ее водой до метки, которую он нарочно в ней сделал. Коли вечером девки издали поют, а жуки пролетом гудят, то он, сидя на крылечке, подбирает к голосам девок басы жуков; коли на заре плотники рубят избу и звонкий стальной топор звенит – Сидор Еремеевич откликается на скрипке или на гитаре квинтой и квартой.

Он, несмотря на безголосность свою, был большой знаток и рядитель музыки и заметил однажды, когда я разыграл ему кой-что из тогдашних новых опер Россини [7], что он это знает; это хорошо, но это-де все выкрадено из гвардейских маршей; Россини все так делает. Немножко он прав, подумал я, хоть и не совсем.

Хозяйка моя, супруга музыканта, мастерски пекла расстегаи, гладила каждый день манишку супруга своего и готовила на вечер белый шейный платок, пила чай из даровой чашки с надписью золотом: «В знак великодушия», и охотнее всего рассказывала истории болезней разных знакомых своих, вроде следующей: «Она, батюшка, ослепла на один глазочек, окривела, так, ни с чего; прикинулся ячмень, она и говорит бабам: «Бабы, покажите мне кукиш». Бабы показали кукиш, а тут стало застилать туманом, и окривела. Не слушается добрых людей, батюшка, оттого и худо бывает; вот хоть бы у соседки нашей: ребенок пошел было до году и стал ходить – говорили люди, что бы путы было перерезать [8], как только пошел он в первый раз, – так нет, ну и

сел опять и ползает до трех годов».

Добродушный Сидор Еремеич, хозяин мой, не только не ревновал ко мне, как к сопернику в промысле своем, но с истинным бескорыстием художника доставил мне тут и там случай давать уроки, посылал иногда вместо себя, брал с собой на вечеринки и делил со мною свой целковый; цена была на это в Комлеве искони одна, и более никто не жаловал, хоть приди один, хоть сам-сём. Сидор Еремеич их избаловал, отвечая один за семерых.

В Комлеве стояла пехота и был батальонный штаб; одной помещице понадобилось показать холостым офицерам, как мило поет у нее дочь. Для этого тотчас же составили концерт в пользу бедных, и все ученики и ученицы Сидора Еремеича и мои напевали, надували, насвистывали и наигрывали тут, кто во что горазд. Меня пригласили сопровождать певицу на фортепьянах. Пробы делались на одних фортепьянах, а к концерту принесли другие, незнакомые мне дотоле, с музыкой Сидора Еремеича, то есть с фаготами, кларнетами, свистками – словом, с целым оркестром и даже с турецким барабаном. Известно, что

все это приводится в движение во время игры особой подножкой; я полагал, не рассмотрев наперед фортепьяно, что педаль внизу обыкновенный, нажал его во время концерта на самом великолепном месте арии, в которой переливалась сладкозвучная певица, – и адский шум всех возможных звуков на разлад, с громовым стуком турецкого барабана, огорошил испуганное ухо мое. Певица чуть не обмлела, слушатели сначала вздрогнули, потом поднялся хохот, и этот несчастный случай едва не лишил меня всех учеников и учениц; мать певицы по крайней мере приложила к тому неутомимое старание и оставалась до конца непримиримым моим врагом.

Глава X. От фортепьян с турецким барабаном до кочерги и щетки

Зима прошла, я свел счета свои и убедился, что хотя и преподавал в Комлеве усердно все искусства и науки, но не скоро заработаю себе кормовые деньги на первые полгода столичной жизни. Мне казалось выгоднее побыть с год у какого-нибудь помещика на всем готовом; тогда жалованье, хоть оно и невелико, можно бы было сберечь почти все. Сидор Еремеич помог мне и в этом: помещик трехсот душ – не шутка – Василий Иванович Порубов взял меня на место прогнанного им француза в дом за четыреста рублей в год, на всем готовом. Я крайне обрадовался: в год заработаю четыреста рублей и с ними пойду в Питер.

Василий Иванович жил в деревне, верстах в пятнадцать от Комлева. Он был давно уже вдов и радел о воспитании дочери и сына – ей двенадцать, ему пятнадцать лет. Василий Иванович, служив в молодости в военной

службе, пришел однажды к корпусному командиру с горькой жалобой на полковника, который-де не дает ему ходу, не представляет к отличию, и просил униженно уважить просьбу его и представить к кресту или чину. Корпусный командир спросил его: «Разве вы думаете, что довольно жить и быть здоровым, чтобы получать награды?» Василий Иванович согласился беспрекословно, что, кроме этих случайностей, необходима и милость начальства, без которой-де, конечно, трудно до чего-нибудь дослужиться. Генерал захохотал, выслал Порубова, а этот, пождав еще немного и выждав только производство двух стоявших под ним поручиков, рассердился, вышел в отставку и, как говорится, насмеялся начальству своему, потому что ему дан был при отставке чин штабс-капитана.

Когда я прибыл к Василию Ивановичу в усадьбу, то встретил его в воротах барского дома в следующем поезде: на старый высокий каретный ход, тем временем, когда еще вместо рессор употреблялись пасы, ремни с зубчатыми колесиками, были поставлены для легкости вместо каретного кузова ободран-

ные большие кресла, и на них сидел барин. На высоких козлах сидел малый, а позади ходу привязана была большая деревянная лошадь, поставленная на колеса; на этой лошади пятнадцатилетний Митенька, мой будущий ученик, и погонял плетью деревянного коня своего, между тем как тятенька его очень снисходительно со мною разговаривали и, обещав скоро воротиться, просили войти в дом. Василий Иванович таким образом ездил каждый день с сынком покататься и объезжал все межи свои, все межевые столбы и ямы. Вошедши в дом, откуда Василия Ивановича сейчас только выпроводили и, как видно было, в эту минуту никого не ожидали, я встретил в первой комнате еще поезд другого, не менее странного рода: барышня каталась, верхом же, на тучной, здоровой девке, которая с ужасным хохотом и криком прыгала курц-галопом взад и вперед, между тем как целая стая дворовых ребятишек и девок, окружавшая потешное зрелище это, с таким же неистовым криком, скачками и взмахами обеих рук изъявляла душевное свое удовольствие. Когда я вошел, то поезд с большою по-

спешностью удалился, холопы стали по углам и грызли ногти, а девка подошла наконец ко мне, удерживаясь всеми силами от смеху, и сказала: «Барина дома нету-с». «Это я вижу», – отвечал я. Девка отвернулась, побежала, рассыпалась в пути неподдельным заливным хохотом, на который и холопы, и девки, и вся дворня единодушно, со всех углов и закоулков, отозвалась тем же, и весь барский дом огласился дружным, до половины заморенным хохотом. Я стал оглядываться: хохотуши всех родов и величин стояли и сидели, прижавшись под столами и дверьми, за шкафами, ширмами – словом, где только был свободный уголок.

Часа через полтора Василий Иванович воротился, принял меня очень милостиво и радушно, кончил наперед всего со мною ряд и уговор, представил мне обоих учеников моих и рассказал, за что прогнал своего француза: он понемногу завел в доме галантерейную и мелочную лавочку, которую и возил с собою в город, когда на зиму вся семья туда перебиралась, и образовал из воспитанников своих пребойких и изворотливых сидельцев.

Василий Иванович был человек очень веселого нрава; вечером к нему съехались человека три близких соседей, и вышедший ныне вовсе из моды пунш находил тут своих потребителей. Было много крику и смеху: никто не хотел верить, чтобы отставной служивый, как я, не пил пуншу, тогда как Митенька выпивал всегда стакан свой с удовольствием. Двое из гостей были мелкопоместные: по этому поводу завязались споры, шутки и перекоры. Василий Иванович торжествовал; он не упустил случая рассказать любимую остроту свою, конечно не собственного изобретения, что дворяне здешние разделяются на три разряда: на великодушных, у коих более ста душ и которые, следовательно, имеют полный голос на выборах, на малодушных, у коих менее ста, и на бездушных, у коих нет ничего. Один из малодушных гостей принимал невыгодные отношения свои очень к сердцу и грозил весь вечер, стараясь перекричать собеседников своих, что скоро, очень скоро прикупит к своим тридцати семи душам еще шестьдесят три, и тогда у него будет сотня сполна и он будет участвовать в выборах и уже даст себя

знать: тогда избираться будут во все места и должности одни только достойные.

На другое утро Василий Иванович занялся хозяйством, он велел подать и отмерить при себе двадцать аршин домотканой полосухи собственно себе на халат; советовался со мною, нельзя ли завести своих певчих, и спрашивал, не умею ли я лечить собак; приказал отправить в город, к известному птицелову, Три-Ивану, четверть круп и мерку конопляного семени, на которые выменял у него перепела и щегленка; позвал Ваньку и требовал отчета: для чего он вчера был пьян? И когда Ванька повинился, оправдавшись тем, что ему надо было побить жену и что он нарочно для этого только и выпил немного, то Василий Иванович обратился с вопросом к Сидорке: чего он смотрит и скоро ли решится поучить также немного жену свою, которая несколько не лучше Ванькиной? Наконец, распорядившись таким образом дома и приведя все в порядок, Василий Иванович поехал опять с сынком прокатиться на межу, в тех же дедовских креслах на каретном ходу, и подтвердил только, чтобы Митину лошадь

привязали сзади покрепче, потому что она вчера на ухабе оторвалась и Митя остался было среди дороги верхом на деревянном коне своем и насилу докричался отца, который, как и кучер, не слышали крику его за стуком экипажа.

Таким образом, я опять с утра остался в доме с тем же обществом, которое вчера так простодушно веселилось во время отсутствия барина; и как я, чтобы не мешать, удалился в свою комнату, а притом меня уже считали своим и не так передо мною чинились, то вскоре и раздался по целому дому смех, визг и топотня босых девок, и я издали мог отличить знакомую мне побезжку барышниной лошадки.

В своем покойчике нашел я еще памятник француза – все стены были исписаны, вероятно по недостатку или для сбережения бумаги, счетами купленных и проданных вещей: колец, серег, пряжек, игол, пуговиц, шелку и прочего. Вечером опять приехали собеседники и пили пунш, и Степан Степанович опять кричал громче всех и грозил, что скоро, очень скоро прикупит он шестьдесят три души к

тридцати семи, и тогда об нем услышат; до того времени-де он молчит.

На третий день опять то же; вся разница была та, что Василий Иванович после коротенького делового утра своего пригласил меня ехать с ним на межу, приказав мне оседлать коня, не деревянного, а живого. Тут я увидел, чем Василий Иванович занимается на этих ежедневных прогулках своих: он объезжает каждый день поочередно участок межи своей; лошади, затвердив путь этот наизусть, останавливаются у каждой межевой ямы, у каждого столба; Василий Иванович выходит, осматривает, любуется и едет дальше, а потом домой. Он рассказал мне год, число и обстоятельства, когда которая межа проведена и столб поставлен, указывал все урочища, по коим у него и у предков его бывали тяжбы, излагая начало, ход и конец их во всей подробности. Частью победитель, а частью побежденный, Василий Иванович оградился наконец, после многолетних и убыточных тяжб, кругом и со всех сторон межевыми знаками, и с этих-то пор, уже лет девять, не может нарадоваться ими и ездит ежедневно услаждать

ими зрение и душу свою. Вокруг всей межи проложена была торная дорога. На обратном пути опять оторвалась Митина лошадка; он насилу нас докричался, заставил кучера тащить себя с полверсты к рыдвану и стегал его плетью за то, что худо привязывает лошадку его. Василий Иванович успокоил, однако ж, сынка, сказав: «Душа моя Митенька, твоя лошадка бесится, оттого она и оторвалась»; и Митя расхохотался и был доволен. Когда мы воротились домой к обеду и вошли в покой, то пыль столбом и разгоревшиеся лица барышни и девок показывали, что они и сегодняшнее утро, пользуясь отсутствием барина, провели в тех же приятных занятиях.

Вечером на половине Василия Ивановича шло все по-старому; собеседники и пунш явились в урочный час; но в детской произошла небольшая перемена против прежних дней. Митеньке здесь нельзя было ездить на деревянной лошади своей, привязанной к каретному ходу, ни Верочке также на своей; поэтому они, как охотники до езды, выдумали ездить по комнате друг к другу в гости. Приехала Верочка к Митеньке на стуле; он принял ее

приветливо, осведомился, по настоянию толстой няни, о здоровье супруга гостыи своей и обещал к ней быть с женой. Она уехала, а он едет к ней верхом на щетке и погоняет кочергой; последняя была жена его. Но Верочка не хочет признать ее родней, говорит, что это не жена, а кочерга; Митенька, обидевшись невежливым приемом сестры, которая никак не хотела поцеловаться с женой его, ткнул сестру наконец кочергой в зубы и вышиб ей *оных* два.

За исключением таких, довольно редких, особенных случаев, все шло день за день обычным своим порядком; француз выучил малюток Василия Ивановича французской азбуке; к русской у них не было охоты, и год прошел, когда мы остановились на *раздорожнице*, на *мыслете* [9]. Василий Иванович просил меня всегда только об одном: не торопить и не принуждать детей, идти исподволь, потихоньку. По окончании года мне плата выдана была сполна, и мы расстались с Порубовым дружески, остались, по-видимому, друг другом довольны.

В продолжение этого года Василий Ивано-

вич сделал только одно умное дело [10]: он скупил в губернии до двухсот мертвых душ, то есть таких, которые значились налицо по последней народной переписи, но которых уже не было; за покойников этих Василий Иванович платил по пять и десять рублей, приписал их законным актом к лоскуточку болота, купленному рублей за пятьсот, а потом заложил в опекуновском совете имение в двести душ, на которое имел все законные акты, по указной цене, по двести рублей душу, и, взяв сорок тысяч рублей, предоставил совету ведаться с болотом и покойниками. Не понимаю о сю пору, как Василия Ивановича на это стало.

На прощанье Митенька рассказал мне, передразнивая голосом крик животных, о коих говорил, прибасенку: жук летит и говорит: *убью*; гусь спрашивает: *каво?* Теленок отвечает: *меня*, а утка поддакнула: *так, так, так*, а коза, подслушав, засмеялась: *ме-э-э!*...

Глава XI. От кочерги и щетки до метлы с фонарем

Приезжаю к Сидору Еремеичу, чтобы снаряжаться в путь к окончательной цели своей, в столицу. Хотя я и видался с ним нередко, но он обрадовался мне до крайности, обещал ныне же к обеду расстегаи и аккуратное пиво, рассказал, что голос его все еще не поправляется; показал мне вновь составленное им полное собрание русских музыкальных инструментов: балалайку, гудок, рожок, поиграл на каждом немного, заметил, что и гусли его и торбан принадлежат сюда же и что он писал через птицелова Три-Ивана на Украину и просил убедительно прислать при первой возможности рыле, с которою там слепцы поют думы свои; супруга его только была начала рассказывать, как заседатель, неосторожно подгулявши, пошел плясать в сочельник и что его за это скорчило, таки вот так, – и присела, словно сама хотела проплясать вприсядку, – как вдруг двери растворяются и входит сам Иван Иванович.

Один почтенный немец, который жил уже давненько в Комлеве, никогда и никак не хотел верить, чтобы человека, который к нам теперь вошел, звали Иваном Ивановичем Ивановым. Немец говорил, покачав головой: «Один Иван – это должно, два Иван – это можно, три Иван – никак невозможно»; и несмотря на все убеждения, считал это шуткой и ничего более не слушал. Вот почему Ивана Ивановича Иванова звали в Комлеве Три-Ивана; под этим прозвищем был он известен целому городу. Это был отставной и холостой чиновник лет пятидесяти, который уже годов пятнадцать занимался только двумя промыслами: мирил тяжущихся и ловил певчих птиц. Сам он был миролюбивейший человек в мире, а мирил других как по внутреннему побуждению своему, так и для выслуги по статуту Анненского креста [11]; ему недоставало для этого еще только двух мировых, из коих одну он имел уже в виду. Пожелаем ему от души креста, который старика, по-видимому, очень утешит; право, он его заслужил. Если бы у нас хоть на десять ябедников был всюду один такой примиритель!

Три-Ивана был птицелов, голубятник и рыбак; и все это в такой степени, до которой только может развиваться какая-нибудь страсть человеческая. Добродушное, округлое, рябоватое лицо его сияло, как воскресное солнышко, когда он заговаривал о своем предмете, – а как он никогда и ни о чем более не говорил, то и был постоянно весел и доволен. Остренький носик, несколько похожий на птичий, и карие маленькие глазки, настоящие огневики, оживляли еще более лучезарное благополучием лицо; на коротеньком туловище, в темно-зеленом сюртуке, с закинутыми на спину или опущенными в задние карманы руками, – иначе Иван Иванович не ходил; кожаный картуз очень редко надевался на лысину, а большею частью носился подмышкою, потому что вечно был набит разными птицеловными снарядами или живыми птичками, которые у него не улетали даже из картуза: так он умел с ними ладить; или, наконец, червями, рубленным мясом для наживки удочки. В этом виде ходил Иван Иванович и притом вечно присвистывал сквозь зубы, манил чижа, щегла, снегиря или чечетку.

Три-Ивана жил в своей очень опрятной избушке, построенной всего на четырех и четырех с половиной сажнях; на коньке поставлены шесты с вениками, а на них повешены цапки или западочки; по углам забора, также на шестах, скворечницы; весь дворик представляет род садика, в котором большая часть небольших деревьев – подложные, воткнутые сучья, обвязанные и обвешанные пучками разных трав и кустиков для приманки птиц. Посредине род беседки, к которой ведет узенький, низкий крытый ход прямо из дому, а по обе стороны беседки – *лучок* и *тайничок*, сетки, коими ловят птиц и от коих шнуры проведены в беседку. Весь забор был кругом утыкан вениками и метлами, волчцом и коноплями, и повсюду расставлены силочки; дом и двор Ивана Ивановича был для птичек очарованный замок, из которого, если они только залетали, им улетать не удавалось. Иван Иванович мастерски дразнил и подзывал всех без изъятия певчих птиц, гонялся иногда за каким-нибудь щегленком, которого признавал издали *шестериком* или *осьмериком*[12], по целому городу, лысый, руки в кар-

манах сюртука и без картуза, и все насвистывал, и приводил-таки щегла наконец к себе на двор, и подманивал под лучок. Дом снаружи и внутри был решительно покрыт клетками всех родов и величин работы самого Ивана Ивановича. Вы могли у него купить и променять на что угодно, по уговору, любую певчую птичку, кроме черного жаворонка, которого держал он как привозную редкость и берег пуще глаза: ему не было цены; на двух концах двора стояли две голубятни: в одной водились *чистые*, в другой *вертуны* или *турманы*. Избави бог, если одному из тех или других вздумалось перелететь на другую голубятню: Три-Ивана бросался, завидев такой соблазн, как бешеный прямо из окна с хворостиной на двор, загонял всех голубей по местам и на целые сутки запирали голубятни. Это делалось, чтобы породы отнюдь не перемешались. Зато какие были у Ивана Ивановича голуби! До него черные, черноплекие, черногривые и чернопегие вертуны не водились вовсе; верьте мне, ни у кого в России не водились! Он их развел в своем заводе, на своей голубятне, и от него уже они разошлись и теперь, конечно,

не в редкость. Он завозил голубей своих за сотни верст, даже любимая шутка его была подарить приезжему охотнику голубка, показав наперед, каково он *ходит*, и потом от души насмеяться легковерному, который увозил голубя с большими хлопотами домой и только и видел его, покуда держал взаперти: как выпустил – так и пошел прямым путем домой, в Комлев, к Ивану Ивановичу. Иногда Три-Ивана распродал охотникам всю голубятню свою и брал за пару рубля по два, по три и более; через две-три недели опять все дома: охотники, бывало, только похаживают вокруг очарованного забора Ивана Ивановича да поглядывают: взять нечего. Зато как берег их Иван Иванович, как холил, как ухаживал за бедняком, когда иной завертится и убьется; а гоняет: без того нельзя, для чего же их и держать! Но посмотрели б вы, когда Три-Ивана взгонит *чистых* своих! Тогда он отправляется обыкновенно на вышку, на беседку, где на кровле всегда стоял у него светлый медный таз с водой: он чистился постоянно, по два раза в неделю, по средам по субботам. Так-то стоит Иван Иванович, превыше сует мир-

ских, и глядит не вверх, где голуби летают, а вниз, в воду, в таз, и видит все, видит, как они ходят на кругах все выше да выше и круга делаются все меньше да меньше; изредка только, глядя в магическое зеркало свое, покрикивает он: «Врешь, врешь, сбился», когда голубь выходил из круга, но через минуту все опять было в порядке. Если случалось, что какой-нибудь из голубей, несмотря на благородство крови своей и приличное данное ему воспитание, выходил не в семью, безобразил поведением своим всю голубятню, посрамлял товарищей и хозяина, например: козырял, хлопал крыльями на лету, рыскал, садился на чужие кровли, то Три-Ивана съедал его преспокойно на другой же день в белом соусе. Верх торжества для Ивана Ивановича был, когда он успевал сманить и загнать чужого голубя; но он никогда не позволял себе при этом каких-нибудь неблагопристойностей, низостей, как другие голубятники, например: ловить голубей в силки или тому подобное; нет, он действовал всегда начистоту, хоть сам хозяин тут стой: подпускал своих, осаживал их исподволь, опять подганивал, если нужно,

а как скоро только сел приятель, то уже все равно что в руках; Три-Ивана заганивал его прутом вместе со своими в голубятню, и тот уже не смел и подумать улететь, ровно невидимая сила его приковала, слушается и идет! Но враги Ивана Ивановича, на которых он был зол и мог очень сердиться, это были хорьки, ястреба, и в особенности кошки. «Я лучше дам себя укусить бешеной собаке, – говаривал он, – чем позволю кошке перелезть по моей крыше». И он в пятнадцать лет успел убедить всех жителей Комлев а в непозволительности держать в городе кошек или успел перебить всех их, не знаю, но только в Комлеве давно уже кошки перевелись, не было ни одной. Пожалуйста на крыс и мышей, и Три-Иванасию минуту задарит вас мышеловками своей работы, только не держите, не разводите кошек. При всем неограниченном миролюбию его у него бывали ссоры и тяжбы с соседями за кошек; он настоятельно требовал, чтобы полиция запретила держать их, подводя их под статью о хищных зверях, которых пунктом таким-то держать в городах запрещено. Не успев же в этом деле путем правосудия,

успел он в нем путем убеждения и самовластия; бил кошек всюду, где они ему попадались, ловил их в капканы, платил мальчишкам за каждую убитую ими кошку, усовещивал жителей при каждом удобном случае не держать этой подлой твари, которая бывает причиною всякого зла на свете; лихорадки, сухотки, родимца и вообще гнева божия. Если же ястреб, коршун или сорокопуд [13] попадались в руки нашему Три-Ивану, то он, добродушнейший человек в мире, не довольствовался простою смертью хищника, а казнил его на маленьком лобном месте и долго мучил и терзал наперед с разными поучительными наставлениями.

Весною и осенью Три-Ивана ловил певчих пролетных птиц как у себя дома, так и в близких рощах, куда уходил с зарею на целый день со всеми необходимыми снарядами; летом ловил перепелов, накрывал жаворонков и, кроме того, рыбачил на удочку, чем занимался и в течение целой зимы. И это дело, как известно, мастера боится; никто не умел сделать крючок, вылить в мел или в кирпич грузильце и пригнать поплавок так, как Три-

Ивана; ни у кого рыба не клевала как у него, и он рассказывал вам подробно, сколько в которм из ериков и озер какой рыбы счетом, говорил об ней как о дворовой птице, как будто все подгородные воды составляют собственность его или сняты им на откуп и он всю рыбу бережет для себя одного. Часто слышали от него жалобу, вроде следующей: «Плут этот, кривой Мишка, вытащил у меня из Грачева озера тринадцать окуней; что с ним будешь делать – пусть ест на здоровье; однако, видно, еще сотни с полторы крупных осталось».

О молодости Ивана Ивановича рассказывали в Комлеве два анекдота, не знаю выдуманных или истинных: говорят, что он, будучи в то время еще страстным охотником до ружья и собак (охоту эту Три-Ивана впоследствии, однако же, бросил вовсе), просился из той губернии, где служил, в южные губернии России потому только, что суровый климат был не по здоровью любимой легавой собаке его; и второе, что Ивана Ивановича в молодости, еще в чине губернского регистратора или провинциального секретаря, не помню – чинов, о коих ныне уже почти не слыхать, – то-

варищи завели ночью в овин воробьев бить: взяли по метле, а ему дали в руки фонарь, приперли ворота и вместо воробьев его же бедного самого гоняли по овину из угла в угол метлами.

Глава XII. От метлы с фонарем и до самого полковника и дальше

Как бы то ни было, а Три-Ивана вошел к приятелю своему Сидору Еремеичу, придерживая осторожно под мышкой картуз, поздоровался, подошел к ручке супруги хозяина, опять запустил руки в задние карманы, повертывался на каблуках, рассказывал с восхищением, как он казнил сегодня сорокопуда, который был до того дерзок, что хотел вытащить синичку из клетки; Сидор Еремеич приказал подать для двух гостей своих самовар; хозяйка потчевала и угощала нас усердно и отвечала, когда Иван Иванович, как человек вежливый, привстал с места и просил, чтобы она сама изволила выкушать чашечку, отвечала: «Благодарю покорно, я одну посудинку выдержала, испродовольствовалась». Сделав должное и успокоив таким образом совесть свою, Три-Ивана обратился ко мне и заговорил со мною каким-то горестным, сострадательным родом, жалея и соболезнуя о горь-

кой участи моей и утешая меня тем, что бог не без милости. Я отвечал ему, что, слава богу, кончил дела свои хорошо и теперь еду в Питер, куда так давно порывался. «Как едете? – спросил он. – Да ведь у нас набор!» – «Какая же мне нужда до набора?» – «Помилуйте, да ведь вас общество наше, мещане отдадут в рекруты; они там высчитали, что очередь за вами!»

Три-Ивана не обманул меня; общество посылало уже за мною в усадьбу Порубова и, не застав меня там, в тот же вечер отыскало в доме Сидора Еремеича, посадило в кандалы и отправило с отдатчиками в губернский город. Я от нечаянности этого происшествия так обезумел, что опомнился только в губернском городе, где застал уже письмо примирителя и птицелова, в котором он, как законник, изъявил сильное сомнение, вправе ли общество отдать меня, как отставного унтер-офицера, снова на службу, и советовал объявить об этом подробно в присутствии.

Один из отдатчиков, ходивший хлопотать тут и там о скорейшем приеме нашем, воротился с вестью, что подмазал везде, где было

можно: инспектору врачебной управы отдал сам из рук в руки и с глазу на глаз; прокурору – через одного из присяжных, который по этим делам употреблялся; военному приемщику – через унтера его, и кажется все ладно. На другое утро меня повели. Солдатом я служил, как читатели помнят, но в рекрутском присутствии не бывал, а отдан прямо, через бригадного командира кантонистов; ныне при всех проделках одно только не показалось мне, что унтер-офицер стал толкать меня носками по голени, чтобы я под меркой вытягивался. Я и без того не приседал, а стоял солдатом; но он делал это по всегдашней привычке и обычаю.

В присутствии, кроме прочих, был еще жандармский штаб-офицер и даже флигель-адъютант. Это не прежние времена, и ныне при выборе всякую неправду выведут наружу. Надобно же быть еще такому случаю: военный приемщик был прежний ротный командир мой; а знаете ли кто был флигель-адъютант? Родной отец мой, полковник.

Ну, нечего по-пустому калякать: меня выслушали, призадумались, дело было сомни-

тельное, хотя и казалось бы – отдавать отставного унтера в солдаты нельзя; но никто не смел взять на себя решение этого вопроса, случая необыкновенного, на который у нас нет никаких постановлений, – и два месяца прошло в переписке, на которую, однако же, последовало решение в мою пользу. Я жил у полковника, рассказывал ему все похождения свои – он слушал с любопытством и взял с меня слово, что я напишу записки свои: вот они. Полковник был здесь на короткое время и без семейства; Груша выходит замуж, и, как говорит полковник, очень счастливо. Триста рублей полковничьих к моим четырем сотням, которые я сберег в целости, итого семьсот, сумма почти баснословная, защита была в синий получекмень мой, и я отправился с обозом извозчиков по пути в Питер.

Что мне докучать читателю не только подробностями пути, но и самого житья моего в Питере; я перебивался с петельки па путовку, с корки на корку; для чужого человека Питер – тот же лес, а люди, покуда не обживешься, не спознаешься с ними, – те же дикари и звери. Не стану пересчитывать вам все сотни

тысяч неудач, которые встречал я каждый день и на каждом шагу; но дайте рассказать мне два-три примера. Менее всего помех встретил я со стороны медико-хирургической академии; там только нашел я радушный прием и поддержку. Всего труднее было мне зарабатывать во все время свой кусок хлеба и форменный мундир со всею к нему амуницией. Учить детей и переписывать с листа – вот источники для нашего брата; я вовсе не прочь и от черной работы, но колкой дров и ноской воды более как на хлеб не заработаешь, а время убьешь все; мне же можно было работать только по ночам да междучасками.

Попал было я в контору русского купца с уговором работать вечером по два часа; но вскоре стали меня употреблять вместо артельщика, давать кучу поручений на следующее утро, когда мне надо было быть на чтении. Я объяснился: это-де против уговора и сверх сил моих, и уволен был с таким аптекарским счетом, по которому, слава богу, с меня ничего не взяли.

Попал я еще к портному для переписки всех счетов его на тисненой розовой бумаге

голубыми чернилами, как любовные записки, – но он хотел также возложить на меня не только обязанность сборщика всех недоимок, но и ответственность за них: «Вы сам писал чет, – говорил немец, – вы должен отвечать; это мой правил».

Но самый замечательный в этом роде случай был и с замечательным лицом; позвольте распространиться.

Глава XIII. Нечетная и недобрая, как тринадцатый гость за столом

В начале семисотых годов, когда у нас можно было идти по самозванцы, что по грибы, когда царевичем Димитрием не назывался разве только тот, кто не хотел; когда бедная отчизна наша, изнемогая от ран, едва в силах будучи поднять на болезненном одре своем отягченную уже оковами руку, и отмахиваясь от лжецарей своих, как от шершней и оводов, – в это время услышали впервые про боярина Андрея Горипалого, который был по крайней мере пальцем на одной из удрученных рук своего отечества. Горипалый не был сам свидетелем убиения царевича Димитрия, но, будучи предан душой отчизне своей и богом данным государям, он вызвался для посылки к первому тогда появившемуся самозванцу, убедился лично, что это не Димитрий, которого он видал, убедился даже, что самозванец этот был не русский, и с этой минуты Горипалый уже не давался более в

обман, а убеждал, кого мог, сильным словом своим, здравым умом и теплым сердцем не верить обманщикам, постоять за мать-государство свое, за себя и за детей и внучат своих, за кости дедов, бить поголовно незваных пришельцев и грабителей земли русской, куда они еще ссорятся промеж собою; и наконец, он же, боярин Андрей Горипальый, как говорит темное предание, не последний вразумил бояр избрать на царство благодатный дом Романовых.

Сын Андрея был в числе осмнадцати молодых людей, посланных еще Борисом Годуновым за море для ученья, и боярин Андрей сам просил царя об этой милости для сына своего, милости, которой в те времена другие боялись и вовсе ее не искали.

Нисходя далее, находим потомка Андрея Горипалого при лучезарном дворе одной из славнейших в мире императриц, но знаем об этом Горипалове мало, почти только, что он уже прибавлял к прозванию своему *овместоый*, был искусный распорядитель пышных празднеств и пиров, но человек с головой и выписал для сына своего чрезвычайно лоще-

ного, всезнающего француза в шитом атласном кафтане, с рукавами в обтяжку.

Француз этот поставил на ноги уже не такого чудака, как был Горипалый Андрей; и этот, правда, также назывался Андреем, – чем знаменитый гофмаршал, отец его, хотел напомнить государыне услуги и заслуги праотца того же имени, – но Андрей в Андрея, как известно, не удается: иной угодит в род и племя, а иной свихнется. Впрочем, если в этом Андрее и было еще что-нибудь, кроме лица человеческого, то уже в сыне этого Андрея, в Гавриле Андреевиче Горипалове, светское воспитание нашего века добилось наконец настоящего первообраза своего, полновесного вельможи. Довольно любопытно следить таким образом, как мы теперь, за целым поколением и видеть, как природа постоянно борется с искусством нашим, как порывается родить человека, но, исподволь пересиленная, переспоренная воспитанием нашим, нередко наконец должна уступить ему и произвести на свет в третьем, четвертом колене настоящее животное. Тут, в Гавриле, кажется уже нечего было ни чинить, ни портить, а он

вылился с самого первоначала, как ему бы следовало: ни толст, ни тонок, ни короткий, ни долог, а так, очень видный, рослый, плотный, хорошо сложенный мужчина. Лоб у него был превысокий, уши плоские, огромные, брови густые и морщины над ними очень благообразные; глаза также большие, но какие-то между-умки: трудно было решить с первого взгляда, что в них сквозило, чем они блестели – тупеем ли, острием ли, с лица ли или с изнанки, – но в них была какая-то важная остойчивость; а расходящаяся от внешних уголков глазных к вискам связка мелкобороздых морщинок придавала даже иногда глазу Гаврилы Андреевича вид какой-то прозорливости. Лицо его было вообще довольно окладистое, черты все очень соразмерные, но что бросалось в глаза при первой встрече с Гаврилою Андреевичем и чему завидовали все сверстники и даже наголовники его, – это было удивительное искусство, с которым природа расположила на лице его все морщинки и складочки; они были так правильны, так отчетисто и чисто подобраны, что нельзя было бы вытиснуть их лучше зубчатым утюгом.

Все это вместе придавало лицу Гаврилы Андреевича, а следовательно и ему самому, вид чрезвычайно основательный, рассудительный, важный, деловой, а для некоторых даже умный; он и слыл тонким политиком.

Я в одно время работал немного на Гаврилу Андреевича – не думайте однако же, чтобы я шил на него сапоги, нет, это было дело знаменитого Аренса, – я сделал по заказу несколько выписок из огромного тяжёбного дела и поэтому был раз или два в кабинете этого вельможи, видел также, как он принимал однажды поутру десятка два деловых посетителей, большею частью по службе, и могу вам все это пересказать; разумеется, что оно останется между нами. С этим же условием я признаюсь вам также, за что я потерял доверенность Гаврилы Андреевича и почему впоследствии уже кабинет его сделался для меня столь же недоступным, как гостиная его: мне следовало получить за труды мои сто семьдесят пять рублей по уговору, но я был так неосторожен, что деньги эти мне понадобились, и как никто мне их не приносил, то я за ними осмелился прийти сам; с тех пор Гаври-

лы Андреевича по нынешний день все нет да нет дома, и я ему уже не работник. Если бы вам можно было при свидании с Гаврилою Андреевичем, – например, у князя Соломкина: я знаю, что вы там бываете, – если бы, говорю, можно было напомнить как-нибудь Гавриле Андреевичу о нижайшем ожидании моем, то вы бы меня этим очень одолжили.

Дома и один про себя Гаврило Андреевич жил по-своему и для себя, а у людей или при людях – по-большесветски. Поэтому и надобно отличить в нем двух особ, два лица: Гаврило Андреевич домашний, свойский, себе на уме, и Гаврило Андреевич гостиный, светский, или, как ныне сказали бы, салонный; домашний ходил в лиловых плисовых сапогах, в китайском парчовом халате, с непокрытой головой, на которой седые, не совсем редкие волосы причесаны были просто, без всяких затей; в правой руке у домашнего Гаврилы Андреевича почти безвыходно жила большая золотая табакерка и двойной индийский платок, то есть два платка, сложенные один на один вместе: это заведено было ради всегдашнего затяжного насморка. Домашний

Гаврило Андреевич всегда плевал в серебряную чашку с граненой и вызолоченной крышкой; всегда садился между двух зеркал, когда его причесывали, и открякивался, харкал и пыхтел во все время этой проделки особенным, звучным и величественным образом, не спуская больших глаз своих с зеркала; домашний глядел всегда сухо, важно, был молчалив, угрюм, спрашивал, отвечал и приказывал всегда односложными словами: «Да, нет, ну, а!» И, наконец, у домашнего нижняя губа всегда казалась несколько отвислою, или по крайней мере она выпячивалась немного вперед. В гостинном, большесветском Гавриле Андреевиче всего этого следу не было: прическа изысканная, подчерненный помадой курчавый волос в завитках, чулки и башмаки, хотя уже коротких штанов не носили, на пальцах богатые перстни, тонкий батистовый платок и только два таких же про запас в кармане; табакерка маленькая, осыпанная алмазами, с изображением барского дворца и усадьбы села Прохорова, наследья Горипаловых; походка важная, но не спесивая, лицо приветливое; нижняя ж губа подбиралась

всегда на свое место, притом всегдашняя улыбка, шутливость и веселость. Из всего этого вы изволите видеть, что хотя Гаврило Андреевич лоб и уши свои носил бессменно и в гостях и дома, но что все это принимало в большом свете как то иной вид и образ: там праздничный, а тут будничный, в свете Гаврило Андреевич ходил налицо, а дома сидел наизнанку, или, может быть, наоборот, как угодно.

Утро у Гаврилы Андреевича было деловое, и я обещал вам рассказать занятия одного такого утра, в которое мне случилось простоять с час-места в приемной благодетеля моего.

Когда ударило одиннадцать, то Гаврило Андреевич вышел в коричневом сюртуке со звездой и пошел сряду в обход, приговаривая: «Вы что? Что?» или: «Что вам угодно?» – смотря по степени известности ему дела или делового просителя. Впрочем, тут посторонних значительных лиц не было вовсе, это все почти были свои.

Первый чиновник подал список и отчет по данному ему поручению распорядиться приглашением половины столицы на вечер. Тут

Гаврило Андреевич, развернув расположенный по азбучному порядку список, с первого взгляду заметил, что на букву С кого-то недостает; следовало быть, как Гаврило Андреевич знал на память, девять человек, а тут только восемь. Чиновник, служивший, как видно, по этой части не первый день, дал на это, не запинаясь, удовлетворительный ответ, объяснив, что один С из столицы, а следовательно, и из букваря Гаврилы Андреевича, выбыл.

Другой чиновник, собою очень благовидный, поклонился, сказавшись чином и призыванием, и просил покорно какого-то незанятого доселе местечка, ссылаясь притом относительно себя на двух известных Гавриле Андреевичу лиц. Гаврило Андреевич заставил чиновника повторить трижды имя свое, сказал потом, прищурясь и приподняв голову, что какой-то однопрозванец просителя служил у Ивана Петровича и был удален по *неблагонадежности* своей; так уже не он ли это? И на ответ просителя, что он у Ивана Петровича не служил и никогда и ниоткуда удаляем не был, отвечал, кивнув головой и

проходя далее: «Да, ну об этом надобно прежде обстоятельно узнать». Проситель поклонился и тут же вышел.

Еще чиновник принес на выбор и благоусмотрение Гаврилы Андреевича печатные деловые бланки с вычурными узорчатыми заголовками. Его превосходительство изволил рассматривать их с большим вниманием, относя все дальше и дальше от себя, во всю длину руки, и, закидывая назад голову, повертывал лист в руках, сличал, сравнивал – но как очков у Гаврилы Андреевича при себе не было, а дело показалось ему слишком важным, чтобы решить его так, на скорую руку, то и было чиновнику приказано обождать, с тем чтобы по окончании выхода заняться этим основательно и на досуге в кабинете.

Наконец очередь дошла до низенького черноволосого чиновника с Анненским крестом на шее, на которого я уже давно смотрел, не понимая, какие у него в руках разноцветные дощечки. Это, как оказалось, были образчики красок для окраски полов, дверей и окон в департаменте. Это дело отвлекло Гаврилу Андреевича уже вовсе от остальных

докладчиков, и деловое утро тем кончилось. Сперва изволили рассматривать образчики от свету, к себе и от себя, и сбоку, потом подошли к окну и делали разные замечания насчет цвета, вида, цены, сравнивали, сличали, клали дощечки на пол, и отходили от них, и заходили со всех сторон, приказывали держать их в руках, подымая выше головы, и отходить, и постепенно приближаться – а наконец изволили отправиться в кабинет, унести с собою образчики и позвать туда же низенького чиновника с Анненским крестом и еще другого, с известными бланками.

Слышав своими ушами, как Гаврило Андреевич изволили приказывать чиновнику, который приходил с зазывным списком для раута, чтобы на официантов справить к этому вечеру белые атласные жилеты и шелковые чулки, я уже нисколько не призадумался подойти к его превосходительству с покорнейшею просьбою приказать выдать мне мои сто семьдесят пять рублей, о коих, конечно, поленились-де доселе довести до его сведения, между тем как они мне, бедному человеку, крайне нужны... Но, видно, я от робости гово-

рил так тихо, что Гаврило Андреевич меня и не слышал; по крайней мере они не обратили на меня никакого внимания, а впоследствии швейцар уже не пускал меня более в дом, и должок остался за Гаврилой Андреевичем по сегодняшний день. Вот вам все.

Глава XIV. От главы тринадцатой и до пятнадцатой

Всех лучше и вернее, как узнал я на опыте, платят господа сочинители за перебелку сочинений своих, особенно стихотворцы, если только угодишь их вкусу размещением и пригонкой стихов и выбором прописных букв. Раз, помню, досталось мне перебелять огромное предположение одного весьма известного сановника о том, чтобы для исправления народной нравственности забить в кабаках наглухо двери и сделать только стойки в окнах, прямо с улицы. Рассуждение это начиналось словами: «В предмете том, поелику, ибо и в тех видах для соблюдения казенного интереса...» и прочее.

Наконец попал я на колею, которая избавила меня от всех крайностей денежной нужды, но это было уже в последний год моего курса. Судьба свела меня с журналистом, который сделал из меня, как из многих других студентов, если не писателя, то по крайней

мере писаку. Я писал по заказу обо всем, о чем писать меня заставляли, получал небольшие деньги всегда сполна и видел после статьи свои в печати с разными прикрасами и с загадочными подписями двух букв, взятых на выдержку из азбуки нашей.

Вот сколько я наговорил о побочных и пустых предметах, окружавших меня во время четырехгодичного университетского курса, а не сказал ничего, собственно, о последнем, о занятиях моих. Все шло чинно, мерно, тихо, и я получил наконец – действительно заслужил и получил – диплом лекаря первой степени. О, это стоило для меня всех первостепенных звезд на свете! Давнишние, заветные мечты мои исполнились, я сам себе заработал и приобрел почетное место в обществе, и теперь не стыдно было мне назваться воспитанником коровницы и отставным унтер-офицером; я, напротив, гордился этим и охотно рассказывал всякому, кому угодно было меня послушать. Вслед за томительным испытанием, на котором мне очень трудно было отвечать, по заведенному порядку, наизусть от слова до слова и без собственных рассуждений, я от-

правлен был в Алтыновскую губернию уездным врачом того же уезда.

На пути в Алтынов был со мною странный случай: судьба, казалось, хотела испытать на выездах, на первых порах решимость молодого врача, едва только вступившего в это звание. Уставши и простудившись немного, я решился переночевать в одной деревне, тем более что я выехал из столицы сейчас после назначения своего и противу поверстного срока опоздать не боялся. До свету еще сделался в избе шум и вопль; я вскочил, думая, что пожар, но оказалось другое: какой-то бродяга повесился на воротах у хозяина моего, и баба, идучи по воду, кинула ведра свои, бросилась в избу и подняла страшный вой. Я снял немедленно висельника, несмотря на все убеждения хозяина, и старался привести его в чувство; но старания мои были тщетны. Между тем мужики собрались, старосты и прочее деревенское начальство и объявили мне решительно, что не выпустят меня из села, пока не приедет исправник, даже поговаривали довольно громко, что меня должно посадить под караул. Никакие убеждения и угро-

зы мои не помогли, меня стерегли, караулили, не давали лошадей и продержали трое суток до прибытия исправника. К крайнему удивлению моему, этот нашел не только распоряжения мужиков вполне основательными, но, посадив-таки хозяина моего и соседей его под караул и осуждая поступок мой как крайне неблагоразумный и подозрительный, уверял, что никак не может понять, какая мне, постороннему человеку, была нужда мешаться в такое *уголовное* дело, и требовал, чтоб я ехал с ним в уездный город. Показав ему свою подорожную, я объявил положительно, что никуда бы не поехал по подобному настоянию его, но что мне дорога и без того лежит туда и потому, милости просим, если угодно, ехать вместе. Там держать меня более не посмели, взяли только от меня письменное показание во всем и напорочили беду неминуемую. Беды, конечно, не было, но перепиской по этому делу мучили меня более году, и сам инспектор управы очень был недоволен неуместным рвением моим и судил точно как коломенский исправник: «На что мешаться и вязаться не в свое дело?» – «А

если бы висельник был еще жив?» – возразил я. Но инспектор оставался при своем: «Какое нам до него дело! На что в такие неприятности мешаться?»

Прибыв в Алтынов и приняв дела свои, я при первой поездке для освидетельствования какого-то мертвого тела открыл изобретательную промышленность моего лекарского ученика, который при покойном предместнике моем управлял врачебно-полицейскими делами уезда и с большим умением и знанием всех обстоятельств и отношений обделывал самые щекотливые и тонкие делишки. В одном довольно значительном селении, чрез которое мне довелось ехать в сопровождении правой руки моего предместника, крестьяне решились отправить ко мне в избу целое посылство, мимо низшей инстанции, моего подручника, который, стоя в сенях, старался выпроводить взащей незваных гостей, спасибо не робких: вытолкали их в дверь, они подошли к окну с нижайшей просьбою отсрочить им сбор по сорок копеек с дыму, который разложил моим именем расторопный ученик (только, право, не мой) на все село за

прививание оспы. Я глядел на мужиков во все глаза, но вскоре, смекнув в чем дело, позвал их к себе, и все объяснилось. Это водилось искони таким образом: ученик отправляется прививать оспу; приезжая в деревню, коли можно в рабочую пору, он расстанавливается как можно шире на квартире, шумит, кричит, грозит, требует на завтра подвод, посылает во все двory обвещать, чтобы все бабы с ребятами собирались, и раскладывает по столам и скамьям ножи, ланцеты, всякие припасы, требует бинтов, повязок и чтобы все это на каждом дворе было готово по образцу. Затем и сам вздыхает тяжело, сожалея об участи малых ребят, которых велено резать ланцетом и прививать таким снадобьем, о котором-де в священном писании ничего не говорится; бабы режут, отстаивают детей, и мужики рады, если могут отделаться умеренным взносом, которого ведь и за труды, все одно, не миновать же. И десятские после разговора старосты с оспопрививателем наособицу бегают по селу, стучат в ставни и обвещают сносить по гривне с дыму, так лекарь (то есть фельдшер) уедет и никого не тронет. На следующий раз

он приезжает с тем же и еще с новыми угрозами: подать жалобу, что уже и весною не давали привить детей, – и конец песни тот же; наконец случится ехать уездному лекарю – не говорю уже о члене управы, – тут уже всякий видит необходимость загладить прошедшее, кончить дело миролюбивой сделкой, и староста опять повещает о сборе. Таким образом, мой опытный помощник успел уже по приезде моем принять моим именем необходимые меры, и, видно, у мужиков не стало терпения, и они пришли просить меня об отсрочке. К этому должно прибавить еще три слова: я не мог настоять, чтобы дело было обнаружено законным порядком и мой мошенник отдан под суд; его перевели в другой уезд, где он продолжал успешно службу.

Во время частых разъездов моих по службе мне случилось также разглядеть однажды близенько разъезды уездного землемера. Видели вы это? Оно довольно потешно. Приезжая однажды в деревню, вижу бесконечный поезд: подвод пятнадцать, в том числе две брички, – и все это набито мешками, кулями, сундуками, несколькими полупьяными, как

видно по первому взгляду, выгнанными из службы чиновниками, и лицами женского полу того разряда, которых называют у нас салопницами, и множеством ребятишек. Спрашиваю с удивлением: «Что это?» – «Землемер, – отвечают мужики, снимая шапки, – едет межевать луга наши, все спорное, сколько лет бьемся – и драки сколько было у нас из-за них и казны сколько издержали, – насилу вот господь смиловался, велено отмежевать». – «Какой же с ним обоз?» – «Да это, батюшка, что проездом соберет – муки, да крупы, да овса, так и складывает на подводы и возит с собой все лето, а к зиме домой. Ведь подводы ему нипочем; а во что они нам станут, того их милость не рассчитывает. Да бог с ним, только бы дело покончил; по рублю с десятины взял уже с весны, тепер, видно, по другому собирать придется». – «Какой же народ с ним?» – «Да это нахлебники, батюшка; известное дело, куда приедет – мужики кормят и его и кто с ним едет, только не обижай нас; ну, он и наберет нахлебников, они ему по целковому, что ли, платят в месяц, а он их все лето и возит по губернии, и расстав-

ляет по квартирам, и кормит. Тут глядите что будет; как только в деревню, так все и разбредутся по дворам, кричат, шумят, дерутся, давай того, давай сего – что делать-то станем».

Я уехал; через неделю возвращаюсь тем же путем, землемер со свитой все еще празднует именины свои в той же деревне, и мужики уже два раза посылали в город за вином. С лишком ведро опорожнили. Наконец раздается по селу радостная весть: *землемер отдал приказ чистить астролябию*; значит, скоро примется за работу. Между тем рабочие и понятые, наряженные из этой и соседних деревень, все дожидаются, хотя, конечно, домашняя работа их не ждет. С этой радостной вестью, что астролябия чистится, один из понятых поскакал верхом в соседнюю деревню. Я уехал и впоследствии слышал только, что пьяный землемер наставил межевых столбов и вкривь и вкось и отрезал не только мельницу, но и половину дворов одной деревни; а как столбы землемера неприкосновенны и губернские власти не могут уничтожить действий его, то тяжба возобновилась и пошла по наследству с поколения на поколение.

Глава XV. От плохого расположения духа и до хорошего

При таком образе жизни, службы и мыслей в Алтынове мне иногда до нестерпимости трудно было жить и служить, и я не скоро обтерпелся. Всякая несправедливость казалась мне дневным разбоем, и я выступал против нее с такою же решимостью и отчаянием, как против человека, который бы душил подле вас кого-нибудь, ухватив его за горло: где кричат караул, туда я бросался со всех ног. Но я большей частью оставался в дураках, заслужил только прозвание *беспокойного человека*, а горю помогал очень редко. В Алтынове требовали, чтобы вы проходили спокойно своим путем и не мешались не в свое дело, то есть не заботились бы о том, если подле вас режут другого, а только оберегали бы свой кадык и свою голову. Управа наша при каждом удобном случае ожидала от меня свой обычный азиатский *пишкет*[14], ожидала и со дня на день становилась нетерпеливее и, как видно

было по всем приемам ее, искала случая показать мне, что долготерпение ее истощилось.

Я был в самом плохом расположении духа и раскаивался уже почти в избранном мною звании; я мечтал принести столько пользы человечеству, а вместо этого сидел теперь над срочными донесениями всех родов и сводил всеми неправдами концы, отписывался и огрызался, как мог, на придирки, замечания и выговоры, – на важные донесения свои по разным предметам, требующим немедленных и самых деятельных мер, не получал вовсе ответов, а по пустым, которые не стоили и полулиста бумаги, заводились огромные дела и нескончаемая переписка, – словом, все это выводило меня вовсе из терпения, и я начал думать о том, как бы перейти врачом в полк в военную службу – там, казалось мне, все-таки не то, там делай свое дело и тобою будут довольны, взятки не берут. Получаю, как нарочно, об эту пору три письма от академических товарищей своих, которые пошли в армию и которым я писал недавно и плакался на горькую участь свою.

Что же они писали? Да один писал вот что: «Полковник крайне мною недоволен, обходится со мной оскорбительно, грубо, а деваться мне от него некуда; корпусный доктор делает мне строгие замечания, грозит – от него подавно не уйдешь! Беда эта началась с того, что с одной стороны требуют и взыскивают с меня того, на что с другой не дают средств, и наоборот; все это обрывается на мне, и горькие, убедительные просьбы и жалобы мои замирают в самой глухой пустыне, в лесу людей. Другая беда – которая еще бог весть чем кончится – вот какая: дивизионный и корпусный доктора требуют самым строгим и настоятельным образом, чтобы месячные ведомости были доставляемы к сроку. Это хорошо; но я их не могу переслать по голубиной почте, а могу только закончить последнего числа каждого месяца и потом, благословясь, отправить. Но квартиры наши расположены так несчастливо, что ведомости мои не могут дойти по обыкновенной почте в дивизионную квартиру прежде четырех или пяти дней, а требуют, не принимая никаких отговорок, чтобы они были на месте отнюдь не

позже последнего числа каждого месяца. Никакие представления и убеждения не помогают, никаких отговорок не принимают; получаю выговор за выговором со строжайшим подтверждением в общих словах: доставлять ведомости к сроку. Я попытался закончить ведомость двадцать пятым числом месяца и отправить ранее – новый строжайший выговор, циркулярно, по всей дивизии; я отправлял уже нарочного на свой счет – но он мало опереживает почту и привозит мне обратно тот же строжайший выговор. Есть ли тут человеческий смысл, любезный друг, скажи бога ради, и что мне тут делать?»

А другой писал вот что: «Показать искусство или познания свои, в чем, как полагали мы в слепом неведении своем, состоит обязанность и назначение врача, – показать себя в своем деле – на это у меня о сию пору не было случая; старшие чином лечатся у старших чинами, а о том, что делается в лазарете, мои судьи судят, конечно, уже не по рецептам, как докажет тебе нижеследующий пример. Генерал смотрел лазарет и при первой встрече со мною, окинув меня с головы до ног, сделал

мне строгий выговор: «Куда вы, сударь, правую руку завалили? Не умеете стоять перед начальством?» Далее: выговор за помятые постели, выговор за поношенные халаты больных, за оловянную посуду, по которой только видно было, что она в ежедневном употреблении и выставлена не напоказ; словом, ты видишь, тут речь шла вовсе не о тех предметах, которые преподавали нам в академии, и наука, брат, наша пропала. Бывало, когда толковали нам о руках и ногах, так речь шла о вывихах, переломах, о пульсе, кровопусканиях, или, как говорит фельдшер мой: венесекусах, – тут не то. А знаешь ли, чем старался утешить меня костоправ мой, фельдшер, когда генерал ушел, посоветовав полковнику держать меня в руках? Он мне объяснил загадку: «Мы маху дали, ваше благородие, – сказал он, – да я не смел доложить вам, потому что вы сами изволили распорядиться. Бывало, при Иване Кондратьевиче, поставим к смотру больных по кроватям, не по болезням, а под ранжир; дощечки распишем почище, белилами, которые на этот случай Иван Кондратьевич нарочно из города выписывал; трудных,

которые не могут прифрунтиться, выведем вон, в жидовскую корчму либо в баню, чтоб на глаза не попадались; прочих выровняем, пригоним халаты, за сутки не велим ложиться, чтобы не помять постелей; оловянную посуду также всю напоказ, под ранжир, и не марали ее, а кормили больных, перечистив все, из черепков; аптеку также всю прибирали склянку под склянку, а невидное, неказистое прятали куда-нибудь, уносили, а вы изволили приказать выдать больным для носки и туфли, и халаты, и одеяла, и простыни – ну, разумеется, больной ходит, шаркает, обобьет; ляжет – помнет, оно уж и не в таком порядке. У нас все это выдавалось, бывало, только к смотру, и все было новое».

Как прочитал я два письма любезных мне товарищей по академии – так чуть не подурчился, чуть не заплакал. Больно мне было за них, больнее еще за свою отчизну. Взял я шапку и пошел душу отвести к человеку, которого я душевно уважал, познав благородство и честность его при нищенском состоянии кармана. Это был наш уездный стряпчий, Негуров. Он встречает меня весело и друже-

ски, – начинаю ему плакаться на горе свое, жалеть, что избрал эту часть, что не пошел служить куда-нибудь по гражданской службе. «Вот как ты например, – сказал я, подав ему руку. – Тебя все любят, уважают, ты и в малом чине и звании своем полезен – а я?…» – «Постой же, – сказал Негуров, – не торопись мне завидовать; нет ли у тебя подставного на мое место: я могу уступить его». – «Что это значит?» – «Как что значит? Разве ты не слышал, что я сегодня уже подал в отставку и остаюсь до времени с семьей без места? Но бог милостив, а на Руси не без добрых людей, найду другое». – «Да что это такое, расскажи бога ради!» – «Да вот что: ты слышал конечно, что к нам вместо умершего назначен новый прокурор; он человек нам вовсе неизвестный и, может быть, бездельник, а может быть, и честный человек – не знаю, но, во всяком случае, принялся за службу свою с первого дня очень неудачно, и не только, как говорится, левшой, но даже, так сказать, ногой. Пишет он ни с того ни с сего циркуляром ко всем уездным стряпчим: «Предупреждаю всех стряпчих, чтобы они отныне приняли за основание со-

всем иные правила, чем доселе; я не потерплю злоупотреблений, которые введены ими в обычай, и прошу действовать отныне иначе». Каково это тебе нравится? Положим, что у него прямое и честное намерение сделать добро – хотя это, право, очень сомнительно и более пахнет приглашением задобрить строгого, неумолимого начальника; но положим, говорю, что намерение было честное. Разве это так делается? Разве можно начать исправление частного зла тем, чтобы наперед ошельмовать всех поголовно? Разве можно сказать человеку в глаза: ты вор и бездельник, если не знаешь и не видал человека этого в глаза и ничем опорочить его не можешь? Но не менее того циркуляр поехал во все уезды, а мне достался из первых рук. Я в тот же день отвечал: «Крайне больно и прискорбно, что новый начальник наш, не узнав еще никого по делам и поступкам – его, оскорбляет таким воззванием всех подряд: и правого и виноватого. Что же собственно до меня относится, то я и впредь буду руководствоваться теми же правилами, коих постоянно держался в течение осмнадцати лет службы своей».

Прокурор обращает мне рапорт мой с надписью на нем: «Предписание мое не требовало ответа; неуместных рассуждений не люблю; если г. Негурову угодно, может объясниться со мною лично».

Прихожу утром на другой день в канцелярию прокурора и застаю его там обще с двумя его помощниками. «Что вам угодно?» – «Я пришел по вашему приказанию с вами объясниться». – «Какого рода объяснение вам угодно? Вы обиделись циркуляром моим? Можете обижаться: скажу вам вдобавок, что он в особенности к вам относится и что я повторяю еще на словах приказание свое. Довольно вам этого или еще что-нибудь угодно?» – «Довольно, – отвечал я, – даже чересчур много. Желая вам служить и знаться всегда с такими людьми, которые могут переносить подобные выходки спокойно». Вышел и через час прислал просьбу об отставке.

Глава XVI. От стряпчего Негурова вплоть до девиц Калюжиных

Когда бедный Негуров рассказал мне все это спокойно, как человек, привыкший в течение долговременной службы своей к подобным явлениям, когда я надивился спокойствию духа его и благородной решимости, твердой вере его в провидение, то устыдился своего малодушия. В самом деле, я человек одинокий, на мне не лежит огромного семейства, о чем же мне столько заботиться? Буду прать противу рожна! Буду, пренебрегая всеми мелочными дрязгами и кознями тщедушных и проискных людей, буду идти своим путем, *не щадя жизни своей и до последней капли крови*, как присягал я, а остальное предоставим богу и царю. Разве не удастся иногда всякому из нас, и самому незначительному человеку по месту, чину и званию, сделать добро, отстоять правду и посрамить бездельничество, заклеив его презрением благородных? Что же мне после этого до мелочных

придинок, до злонамеренных покушений, повитых неправдой и вскормленных криводушием людей? Они за себя ответ дадут, а мы за себя. И давно ли Негурову удалось сделать доброе дело, и не стоит ли оно того, чтобы за него иногда потерпеть? Разве присяга моя «до последней капли крови» относится только до солдата, который буквально исполняет это, подставляя лоб свой под пулю, а не до нашего брата, у которого иная капля поту, переработанная из той же крови, стоит капли самой крови; у которого забота не за свое, а за общее благо, и пря, война, единоборство за человечество и правду избороздят чело преждевременными морщинами, иссушат боевую жилу алой крови в сухожилье?

Да и Негурову недавно еще удалось сделать в тесном кругу своем славное дело. Мы были вместе у приемки рекрут. Зрелище жалкое. Тут справедливость, строгая, святая справедливость, одна только может оставить сколько-нибудь успокоительные воспоминания. Негуров не довольствовался тем, чтобы сидеть с судьей и городничим за красным сукном и слушать, как председатель кричит

поочередно: «лоб» и «затылок», – он входил добросовестно сам во все, что только до него касалось. Он взял, между прочим, все семейные списки, сидел над ними каждый вечер за полночь, между тем как прочие господа занимались для отдыха от дневных трудов вистом, и сличал списки эти во всей подробности с очередными списками волостных правлений. Рано утром входит однажды к Негурову молодой франт своего рода, хват в темно-синем тонком кафтане, и раскланивается по-полубарски: «Я-де волостной писарь *такой-то*, прибыл с рекрутами и с отдатчиками». – «Что же тебе надобно?» – «Да к вашей милости, много наслышаны об вас, просим покорнейше, позвольте поблагодарить вас». – «Благодарить тебе меня не за что, я тебя в глаза не видал и ни худа, ни добра тебе не сделал, прощай!» – «Да уж это так у нас водится». – «Ну так у меня не водится; пришел не зван, поди ж не гнан; пошел!» Утром Негуров показывает председателю отметки свои на списках и, между прочим, говорит! «Вот, извольте посмотреть, тут что-нибудь да – кроется; что это значит: Севрюгины – это семья *ше-*

стериков, шесть мужиков в семье, а с тысяча
восемьсот седьмого года не выставила рекру-
та, и ныне опять она не показана в очеред-
ных». – «Это я-с, – подскочил молодой волост-
ной писарь, – это наша семья-с, батюшкина-с,
у нас нет способных». – «Да ты первый, любез-
ный друг, можешь в гвардию идти, не говоря
о других!» Но сын, как видите, волостной пи-
сарь, отец-старик у него *коштан*, то есть
стряпчий, поверенный и ходатай для мира,
и притом очень зажиточен, так дело всегда
кой-как и обходилось. И ныне вышло чуть не
то же: Негуров и я не дали подкупить себя,
остальные – пусть бог их судит, что и как у
них было, но только все приняли сторону во-
лостного писаря, и когда мы таки не без труда
настояли на том, чтобы его раздели и осмот-
рели, то он был признан неспособным, пото-
му что на левом боку нашлась какая-то цара-
пина, небольшой рубчик, который, по словам
военного приемщика, не даст ему стягивать
мундира. В эту самую минуту вдруг дверь рас-
творяется и входит флигель-адъютант, толь-
ко что прибывший из соседней губернии.
«Здравствуйте, господа, как у вас идут дела?»

Ему в ответ тотчас представляют спорный случай и волостного франтика, который тут же и стоял нагишом, налицо. Флигель-адъютант поглядел на военного приемщика, осмотрел еще раз неспособного, поговорил два слова со мной и попросил присутствие принять этого молодца на собственную его, флигель-адъютанта, ответственность. Мальчик вздрогнул, старик отец упал в ноги – но «лоб» раздавалось уже от дверей к дверям, и приятеля забрили. Отец покаялся после, что все эти проделки стоили ему в течение трех наборов до восьми тысяч рублей, а следовательно, он без стеснения мог бы давно уже поставить за сына не только одного, но и двух и более наемщиков; одна страсть ходить кривыми путями и более на них надеяться погубила его на этот раз, где он наткнулся на честного человека. Негуров спас этим подставного *одиночку*, то есть одного сына у вдовой матери.

Между тем время бежало, я жил и служил в Алтынове уже с лишком год, – но я еще ни слова почти не сказал о нашей общественной жизни. Замечательнейшее в целом Алтынове было, без всякого сомнения, семейство или

дом Калюжиных. Этот первообраз в своем роде, повторяющийся с бесконечными изменениями (о, как природа разнообразна!) в каждом губернском городе, стоит того, чтобы им заняться пообстоятельнее. Скажу наперед: меня звали туда как гостя – я не пошел; меня звали как врача, по обязанности моей, приняли как гостя, и несмотря на ничтожное положение и звание мое – что такое уездный лекарь? – приняли почетно, заставили против воли быть гостем, быть своим и едва-едва только отпустили душу мою на покаяние; смерть была на носу. Из этого можете видеть, как редки и дороги в Алтынове женихи; а где неурожай, там и голод; где голод – там человек подымается на необыкновенные хитрости и ухищрения и даже – о ужас! – пожирает себе подобных!

Глава XVII. От дому Калюжиных и до дому Калюжиных, или собственно об этом предмете

Если вам только случалось жить в каком-нибудь губернском городе, то вы, без всякого сомнения, знаете семейство Анны Мироновны. Приметы его вот какие: живет оно довольно открыто; муж служит, в порядочных чинах, но об нем мало речи, более бывает разговору о супруге его, Анне Мироновне, которая все знает, всюду бывает и всюду первая из первых. Она числится одной из почетнейших барынь в городе, вывозит на вечера по три, по четыре, даже по пяти взрослых дочерей, и дочери эти пристраиваются одна за другой, по светскому понятию, довольно выгодно, хотя они, как говорится, ни с рожи, ни с кожи, все более или менее просты, чванны, собою очень посредственны, ходят в люди в блесках, а дома шлюхами. Дом держится собственно Анной Мироновной, во всяком смысле; она просит, принимает и угощает го-

стей, она и сама напрашивается куда следует в гости, она же. и добывает все необходимое для наружного блеску в долг, и в счет, и взаимы, и напрокат; говорят даже, что когда она благословляла вторую дочь свою под венец, то довольно богатый образ в золоченом окладе был взят ею в рядах с бою; потому что по доброй воле ей никто в долг не верил. Между тем купцы формально отказать ей в бездежном заборе товаров не смеют: она слишком почетное, слишком известное лицо в городе, нравственное влияние ее слишком велико. Это Наполеон своего роду до изгнания его из России с бесчестием, и все языки должны ей покорствоваться. А как ее, вероятно, никогда не изгонят с бесчестием из России, то из этого и следует, что она лучший тактик, стратегии и политик, чем покойный Наполеон. Одна дочь у нее за генералом или по крайней мере за статским советником. В доме у Анны Мироновны все очень порядочно, потому что дом составляют первые три комнаты: зала, гостиная, столовая; далее не ходите, там задний двор, где нельзя же требовать опрятности и порядку. Дочери показываются только около

полудня, то есть в полной походной и боевой амуниции, а если вы их захватите врасплох, то они, как маменькины ученицы в военном искусстве, поспешно отступали, уничтожая за собою все переправы и затрудняя преследование, – то есть они бегут опроретью вон, захлопывая за собою двери. Как быть: домашний капотец скоро затаскивается, платчишко, если даже и его случится накинуть, также, а чем всю буднишнюю амуницию строить новую, так лучше побережь деньжонки на выездное и щегольское платье.

Конечно, барышни наши не такие лютые хозяйки, чтобы домашнее платье изнашивалось и маралось от хозяйских трудов и работ; о нет, на это есть у них, слава богу, и Машка, и Сашка, и старуха Сидоровна; но ведь нельзя же и уберечься за всякий час: то придется на помадиться и обтереть обо что-нибудь близкое руки, то невзначай потрешься около шандала либо плеснешь на себя чего-нибудь; день за день в одном да в одном – не набережешься; и не к чему, впрочем, признаться, – это домашнее. Мыть бы можно платье это, конечно, но и тут встречаются разные помехи:

не всегда есть под рукой бальные обноски, которыми бы можно временно заменить будничное платье, – а ведь не ходить же, как делают иногда служивые наши, когда моют белье свое, так, ни в чем; этого нельзя, это не водится, даже и в самых отдаленных домашних комнатах Анны Мироновны, хотя туда, кроме посвященных в домашние тайны, не заглянет ни одно человеческое око. Кроме того, девки заняты нужнейшим: то шьют наряды, то стирают по необходимости белье, то штопают чулочки, если они повредятся выше пятки и подошвы, на видном месте, а в противном случае собирают петельки на одну нитку и затягивают в курчавенький комочек. Еще и то сказать, привычка – та же природа; не хочется расстаться с блузой, к которой привыкнешь и знаешь уже наизусть, где недостает пуговицы, где оборвалась петелька, и привык уже ко всем сподручным ухваткам, как ее там без большого труда поддерживать и прихватывать. А, наконец, зимою, когда барышни носят стеганые капоты, то уж вы и сами знаете, что мыть такую вещь неудобно, и тут поневоле ходишь восемь месяцев в сале и во

всякой всячине. А кто же виноват, что у нас климат такой суровый и зима долгая? Говорят даже, что это и самому Наполеону было вредно, а вы хотите, чтобы такое обстоятельство осталось без влияния на дом Анны Мироновны!

Итак, если вы живали в губернских городах, то вы, конечно, дом этот знаете.

И такое точно семейство жило в Алтынове. Герасим Степанович был старшим по чину и влиянию советником одной из палат, и ему ни в каком случае не следовала казенная квартира, но Анна Мироновна сумела так устроить дела, что им дан был довольно обширный казенный дом, хотя, правда, несколько в ветхом состоянии; но зато постоянно отпускался ремонт, а Герасим Степанович надеялся овладеть вскоре домом этим по праву десятилетней давности своего в нем проживания. Он надеялся вскоре купить дом с молотка – так, рублей за семь с полтиной, – дом был уже старанием Анны Мироновны удостоен в негодность, освидетельствован и донесено, что даже строительные припасы все от ветхости пришли в негодность. Все в

городе были одного мнения, на счет Калюжиных; все знали, что Герасим Степанович не надсядется в защиту какого-нибудь безгласного подсудимого, да и вообще не станет подрываться куда-нибудь без каких-нибудь особенных видов и нужды, но у Герасима Степановича в ведомостях графа «состоит» одного месяца соответствовала графе «состояло» следующего месяца, а итоги под суммами, делами и арестантами всегда были верны; все знали, что он, не имея состояния, нуждался в подкреплениях посторонних, особенно при его роде жизни, и потому никто не удивлялся, если случай тут или там раскрывал какое-нибудь обстоятельство и молва пускала его со всеми околичностями по белу свету; это было в порядке вещей, и об этом говорили только как о всякой городской новости, как о том, что к купцу Шугаеву привезен из Нижнего свежий товар, что Фома Иванович дает вечер, а на Степаниде Семеновне было опять новое платье, седьмое в течение зимы. Иногда, правда, дивились исподтишка: отчего Герасиму Степановичу все с рук сходит? Семнадцать лет живет он в этой должности в Алтынове,

семнадцать лет все знают всё, что знать можно, и по разу или по два в год бывают яркие, разительные случаи, где весь город, наострив уши, ждет: что-то будет теперь Герасиму Степановичу, неужели и это так пройдет? И проходит! Весь город знает и перечтет вам по пальцам всю крайность домашних обстоятельств Калюжиных, странные и позорные происки их, замечательные и многосложные соображения и действия Анны Мироновны потайными пружинами и рычагами в разных стеснительных обстоятельствах, и особенно если нужно пристроить одну из дочерей-погодков; словом, Калюжины составляли семью анекдотическую; но при всем том они занимали по всем трем размерам пространства, в длину, в ширину и глубину, одно из первых мест в обществе. На всякой порядочной свадьбе в городе Анна Мироновна бывает посаженою матерью или Герасим Степанович — отцом: все купечество было помешано на том, что Анна Мироновна, как главнейшая половина счастливого супружества, как одно из почетных лиц в городе, должна вложить серьги невесте, когда ее повезут под венец, а у

каждой из девиц Калюжиных было в городе крестников и крестниц по пятнадцати.

За долги Анны Мироновны лавочникам и сидельцам расплачивались всегда посторонние; это было так заведено искони, и Анна Мироновна не видела никакой причины изменять такой порядок. Расплата эта происходила двояким образом: или собственно посредством просителей, которые, по здравому рассудку своему, всегда уже являлись к Анне Мироновне с расписками от купцов в уплате счетов ее; или же обыкновенным и законным порядком, через алтыновскую комиссию погашения долгов Калюжиных. Комиссию эту составляли все наличные жители, весь город; купцы раскладывали на них по счетам своим долги Анны Мироновны и набавляли цену на товар, отчего и можно было сказать без всякого преувеличения, что в Алтынове дешевле брать товар в долг, если даже и платить за него, чем на наличные деньги. С должников своих купцы рады были получить хоть что-нибудь, а честным и верным плательщикам не уступали ни гроша и набавляли еще, говоря: «Да с кого же нам, батюшка, выручить? В

убыток торговать нельзя». Для пяти дочерей, которых привыкли дома называть детками, не было в доме никакого особого угла ни днем, ни ночью; они болтались днем от нечего делать между залой и девичьей, то по окнам, то по печам, иногда с полезной книгой в руках, как, например, с «Библиотекой» [15], где есть такие милые, острые шуточки; изредка перед балом – с какою-нибудь легонькою работой для накладки или оборки, а больше так, ни с чем, во ожидании вечера. Вечером, если они не выезжали сами, непременно кто-нибудь приезжал к ним – большею частью любезная и милая молодежь, которой нравилось несвязное обращение в доме Калюжиных и которая также, встав поутру, с большим нетерпением ожидала вечера после томительного, длинного на этом свете и скучного дня. В этом отношении молодежь вполне сочувствовала девицам Калюжиным. Тут были славные и завидные женихи: один с самыми длинными в целом городе ногами и с перехватом; он, чувствуя превосходство свое, всегда становился вилами посреди комнаты, и если можно, против зеркала; другой отлич-

но хорошо говорил по-французски и был мастер смешить до слез; этот всегда старался, заняв несколько времени и насмешив целое общество, залучить на свой пай девицу наособицу, в чем ему, как крайне образованному, благовоспитанному человеку, никто и не думал мешать: кому же доверить девушку, если не человеку такой тонкой, высокой образованности, цвету столичного общества? Третий был не очень казист и ходил себе так, спустя рукава, говорил вслух мало, но так занимательно нашептывал и занимал вполголоса, что, одним словом, беседа его, надобно полагать, была очень поучительна, потому что собеседницы из дому Калюжиных слушали его с большим удовольствием; он же иногда приносил и книги: в других домах с осторожностью и с оглядкой, а к Калюжиным, где не было никакой цензуры, где не предстояло никакой опасности, чтобы родители любопытствовали узнать вкус услужливого гостя, — без всякого зазрения совести. Иногда Калюжиным удавалось подхватить где-нибудь под руки и посадить к себе за стол молодого холостого помещика, особенно приезжего, и

это был большой праздник. Если такого человека удавалось раз подхватить под руки, то его обыкновенно с рук не спускали, разве уж наконец сам потянется да вырвется. Таким образом, вечер проходил довольно приятно, можно было отдохнуть от дневной скуки и спокойно улечься около полуночи с уверенностью, что до завтрашнего вечера осталось менее суток. Ложились барышни наши тут и там, вповалку, где случалось; кроватей своих у них не было, чтобы не занимать лишнего места; простынь и одеял также, потому что это лишний расход, а дело не видное; одна лежала на одном диване, другая на другом, третья на стульях, четвертая на полу, и этой доставалась обыкновенно перина; укрывались они – которая стареньким одеяльцем, немножко излохмаченным, которая салопом своим, капотцем да мантионом. Хлопчатая бумага – пренесносное вещество: где только подбой или покрывка продерется, то она так и лезет вон. Впрочем, одно из одеял этих было в доме известно под названием *атласного*, и из-за него было много несогласия: всякой хотелось одеваться атласным одеялом. Атласу

оставалось в нем одна только память, да все-таки атлас. Утром всякая из девиц вставала со своего ложа и, завернувшись чинно в салопец свой или одеяльце отправлялась к заветной вешалке, за ширму, сымала с гвоздя или подымала с полу домашнее платье свое, тут же надевала и отпочки, башмачки, но уже к обеду умывалась, чесалась, закалывала распущенную косу и прочее. Все это делалось чинно, спокойно, протирая со сна молча глаза; иногда только выходили маленькие неприятности, если младшая попадала ногами в башмачки четвертой сестры, та в следующую за тем пару и так далее, покуда наконец на долю старшей оставалась пара детских отпков, в которые она никоим образом не могла вправить ноженьку свою. Пять пар башмаков – не шутка; выходит десять штук: как станут разбирать из кучки, куда девка их все свалила, подобрав в трех или четырех комнатах, то иногда такая запутанная вещь выходила, что в продолжение целого часу не могут барышни подобрать пару к одному окаянному башмаку: другой не лезет на ногу, да и только. Между тем все уже разбредутся по

занятиям своим: одна к окну, одна к печи, одна немножко растянется на диване, и девка бегают с одним башмаком по целому дому, и, приговаривая: «Барышня, по-жалуйте-с», – ловит барышень за ноги, и примеривает башмак.

Разумеется, что та, которой достанется стоять босиком за ширмой и дожидаться этого розыску и следствия, повышает от времени до времени плачевный голос свой и дает сестрам, в отчаянном положении своем, приличные поступкам их названия. Впрочем, как выездные башмаки всегда поступали, в свою очередь, в буднишные, а потом и в утренние, то в общей суматохе до одиннадцати часов утра, отнюдь не позже однако ж, можно было видеть барышень наших, иногда в одном розовом башмаке, в другом голубом или зеленом. Случались иногда также маленькие неудовольствия и по тому поводу, что девка, у которой были только две руки и две ноги, не могла чесать более одной барышни вдруг, между тем как утро уже нечаянно проскочило сквозь пальцы, настало обеденное время: долгоногий француз и другие милые посети-

тели с нетерпением ожидали в гостиной выхода и, подходя на цыпочках к дверям общей жилой комнаты, прислушивались к пискливым и тоскливым напевам барышень, негодующих друг на друга и на девку за остановку и проволочку. Тут следовало бы по справедливости положить пеню за протори и убытки. Притом же и гребень один: не дюжинами ж их закупать для дому; и как ни бейся, а надобно выждать очереди. Сама ни одна из барышень не умела вычесаться, да оно, кажется, и неприлично: на это есть девка. Бывает и то: гребень завалится куда-нибудь за сундук, за комод, в рукомоЙник – ударит десять, одиннадцать, – и в доме пойдет такая суматоха, крик, пискотня, плач, что даже жалостно слушать: ищут, девки бегают как шальные, барышни ходят следом гуськом и погоняют; пора выходить, а еще нет и гребня.

Но если и парная одежда, как башмаки, нередко разрознялась в домашнем быту девиц Калюжиных, то непарная, как само собою разумеется, ходила с плеч на плечи без всякого разбора, и к этому разряду, в особенности, принадлежало все белье; маменька и дочери

носили его сподряд и без всякого различия. Ведь оно мягкое, убористое, можно по нужде и стянуть, и распустить, и подобрать, и, одним словом, это не платье: как оно сидит – до того никому нет нужды. Обзавести каждую своим бельем – это не безделица: полотно дорого, а никто из посетителей не удивится такой роскоши и даже не узнает о том; предмет, сами посудите, таков, что неловко похвалиться этим перед кем-нибудь в глаза; оно как-то не приходится. Итак, белье общее, и это новый источник домашних неприятностей; не всегда доставало на перемену кругом, а нельзя же ходить всегда в бессменном, особенно летом. Пора, когда барыни в полном убранстве, по узкости облитого платья, белья не носили вовсе, миновалась, и без крайности не хотелось заводить такую моду [16]. Еще повод к раздору: подадут белье – оно проношено, или тесемочки выдернуты, висит так, что с ним не справишься, а тут дело спешное, – вот вскинется одна: «Это ты, Настя, уж сейчас видно которая вещь на тебе была, это ты оборвала тесемочки»; а тут еще подхватит девка: «Нет-с, ба-рышня-с, это они на подвязки вы-

дернули-с...» – ну и пойдут перекоры! Поэтому и белье всегда и во всех отношениях было не слишком исправно; спросить не на ком, да и кому какая нужда об нем заботиться, только бы с плеч да с ног долой, а там авось другой достанется, пусть носит как знает, не самой же, и в самом деле, заняться вычинкой белья: это не дворянское дело; пожалуй, вон у Василия Адамовича, у директора гимназии, говорят, дочери сами на себя башмаки тачают, так это другое дело, на то они немцы. Уж гораздо же приличнее русской дворянке, дочери значительного чиновника, ходить дома как-нибудь, лишь бы в люди показаться полюдски, чем работать на себя по-холопьи одежду. Рубахи целой в доме не было, это правда; оказывалась также иногда крайняя нужда в исподницах и чулках, но зато наследственный жемчуг перенизывался по воскресеньям для забавы; это делалось в гостиной и называлось: *дети занимаются рукодельем*. Впрочем, не годится и наговаривать по-пустому: барышни иногда рукодельничали; они, я думаю, могли вышить что-нибудь по канве, где стежка идет на готовую за стежкой, и ни

обузить, ни посадить нечего; а белошвейная работа – ну, это, конечно, им не рука: на это есть девки. Конечно, все вещицы, которые ходили тут и там под именем их работы, принадлежали к модным и самым бесполезным вещам в мире; но вы опять-таки хотите, чтобы барышни, дворянки русские, были ремесленницами, и работали что-нибудь годное, путное, полезное для дому! В этом-то и штука, чтобы выдумать такую вещь, которою бы вежливые гости могли любоваться, а между тем видеть по первому взгляду, что это сделано для одной лишь забавы, не по нужде, не для нужды и даже вовсе не для употребления. Когда Калюжина готовила одной дочери приданое, то справила ей, уже отдельно от сестер, полдюжины рубах, шесть шелковых платьев, одно будничное ситцевое; но ни юбочки, ни кофточки – а убрала зато постель, наволоки, простыни и парадное шелковое одеяло кружевом. Да, позабыл я сказать еще о носовых платочках: для общего обиходу было в доме с дюжину батистовых платков, но уголки у них все были прорваны и даже оторваны напроочь; это делалось таким образом: в мытье

их связывали попарно, чтобы удобнее перекидывать для просушки через веревку, а потом, когда приходилось катать или гладить, то для скорости развязывали узлы зубами или просто растягивали вручную, и видно, ба-тист был плох; частенько зуб прачки проходил в узелок навывлет или кончик одного платка оставался в затянутом узелке другого.

С этим превосходным порядком в доме согласовалось, разумеется, и самое воспитание дочерей: одно другому не уступало. Не думайте, чтобы мать их баловала: нет, право, им иногда по целым дням житья не было от нагоняев, если они в чем-либо согрешали противу тактики Анны Мироновны, вынужденной обстоятельствами; они при посторонних отвечали головою – которой доставалась порядочная мойка – за все невыгодные последствия поведения, несогласного в чем-либо с планами матери. Но что делалось за заветной ширмой, за перегородкой или вообще в доме далее столовой, счетом третьей комнате от передней, – до этого, разумеется, Анне Мироновне не было никакого дела: в это она, как благоразумная и чадолюбивая мать, не меша-

лась, не стесняла волю дочерей ничем. Если, например, Калюжины приглашены были на обед или вечер, то никакая головная боль, ни угар, ни тошнота, ни другие обстоятельства и невозможность одеться не спасали дочерей от корсета и выезда; вы согласитесь, что это также благоразумно и чадолюбиво, потому что оно делалось, собственно, для них же, для детей, – их надобно было показать, где только есть к тому случай. Тогда не принималось никакой отговорки, должно было одеться, ехать, улыбаться, глядеть на всех весело, заманчиво, любезничать. Если носили в доме на руках женишка, то уже долгоногим не было пощады: и не гляди на него, и не говори с ним теперь, влюбляйся там на просторе и на свободе, когда никого нет, а теперь сюда держись, сюда носом, туда кормой, правь по компасу и не сбивайся с румба, вот тебе маяк. Если – что случалось, впрочем, очень редко, и может быть, всего раза два-три, – если слишком строгий порядок в доме выводил наконец какую-нибудь дочь из терпения и она, наслышавшись от какой-нибудь подруги о том, как то или другое водится в других домах, пыта-

лась завести какой-нибудь толк и порядок в белье ли, в чем ли, другом, то Анна Миронова останавливала ее в ту же минуту и говорила: «Вздор, чтобы я распоряжений твоих в доме и не видела и не слыхала; ты бы, сударыня, изволила наперед позаботиться, чтобы порядочный человек к тебе присватался да не покинул бы опять после, по твоей же глупости, да тогда и распоряжайся у себя в доме как хочешь. Как жили доньне, так и будем жить и вперед».

Глава XVIII. От дому Калюжиных и до квартиры Чайкина через большую улицу и рынок, за вторым переулком

Итак, вот вам этот знаменитый, хлебосольный дом Калюжиных, дом, вам, конечно, уже знакомый, потому что, повторяю, он есть в каждом порядочном городе Руси.

Время было о ту пору, как я прибыл в Алтынов, для Калюжиных, надо думать, тяжелое; старшую дочь отдали благополучно за вице-губернатора, другую с помощью зятюшки старались пристроить за одного из советников, который был уже поставлен в такое положение, что решительно не знал, что делать и как быть, и с горя запил, чего, говорят, с ним прежде не бывало; этим счастливым обстоятельством воспользовались, и когда Артемий Семенович начал приходить в себя, то ему сказали, что он жених Марьи Калюжиной и что вице-губернатор хлопочет о представлении его к награждению землею по чи-

ну.

У Калюжиных стояли на всех концах города махальные, которые извещали Анну Мионовну обо всем происходящем; кроме того, дом Калюжиных был угольный, окна во все лето растворены настежь, так уже и сквозным ветром заносило все вести, которые летали без хвоста по городу. Из пяти домашних караульных три по крайней мере стояли постоянно на часах у окон, чтобы видеть все, что делается на улице: кто прошел, кто проехал, куда, кто кому кланяется, кто нет и прочее. Вы видите, что тут недоставало часовых и на две смены, полагая три притина [17], но бедненькие барышни обмогались как могли и только по праздничным дням ставили за ворота в помощь себе передовой пост, ведет, состоявший из двух девок и человека: полные и законные три смены.

Все вновь приезжие пользовались особенно милостью и приветливостью в доме Калюжиных. На другой, много на третий день приезда нового чиновника его приглашали к Калюжиным к обеду, при прощанье приглашали запросто по вечерам и на следующий

вечер, если он сам не являлся, за ним посылали; при третьем посещении ему вручались пять альбомов девиц Калюжиных с просьбою написать или нарисовать что-нибудь, а потом уже дело шло обыкновенным порядком.

Я не хотел заводить в Алтынове обширного знакомства, отнекивался в особенности, по слухам и какому-то предчувствию, от дома Калюжиных, но меня наконец позвали туда как врача. Разумеется, что тут не было для меня никакого повода отговариваться: я пошел. Посещение это кончилось знакомством моим в доме; все было уже так искусно и мило подведено и подготовлено, что мне и тут не осталось ни одной уловки, если я не хотел быть просто неучем и грубым. Вторым следствием этого приглашения, где лекарское звание мое служило только благовидным предлогом, было то, что господа члены управы сильно противу меня возопияли и требовали от меня ответа: как я смею втираться в их практику и принимать на себя чиновных больных, когда тут есть врачи постарше меня, и сверх того, еще мои начальники? Как я смею быть совместником непосредственного начальства

моего? Это-де при первом сполутном случае может обойтись подчиненному дорогонько. Между тем и третье следствие, необходимое при знакомстве в доме Калюжиных холостого человека, не замедлило вскоре сказаться на деле.

Не знаю, с которого конца начать быль эту – она как-то запутана. Повода я, право, не подал к ней никакого, разве только тем, что также расписался и разрисовался в пяти альбомах барышень; но что же вы будете делать, коли вам их подносят? Не сказать же: пишите сами!

Итак, я никакого греха не замышлял, ни о чем не думал, бывал раз в неделю у Калюжиных, наряду со множеством других, – вдруг слышу, что меня не только пустили по городу женихом, но что даже у Анны Мироновны с зятем, вице-губернатором, вышла маленькая ссора из-за меня; он противится этому союзу, обещает найти жениха почище меня и не желает родниться с отставным солдатом, который угодил как-то в уездные лекаря; а она настаивает, хочет отдать за меня дочь, которой-де от счастья своего не бегать, а ныне вре-

мя такое, что за женихами не набегаешься. Все это казалось мне до времени очень забавным-, и я стал только бывать у Калюжиных еще реже прежнего и только в такие дни, где собиралось там много, и наконец почти отстал вовсе. В городе, где два дома рассорились за то, что одна барыня сказала: «Ах, какой вы крепкий чай делаете», а другая отвечала сухо: «Для гостей своих ничего не жалею», – и слово за словом, и разошлись или разъехались турухтанами [18]; где, кроме того, как известно, какой-то бесплотный бес в виде вихря носит по городу и перепутывает на каждом перекрестке городские вести и сплетни, – в таком городе, подумал я, не уберешься от этих швей – прошу наборщика не сделать в этом слове опечатки, – пусть их плетут. Но этим я не отделался.

Я жил в низеньком домике без палисадника; улицы в этой части города так широки, что бабы летом через улицу друг другу в окно горшки на ухвате передают; перед окнами моими нанесло огромный сугроб снега, а его прикрыли еще пластом навоза; весна пришла, я растворил рано окна, а между тем по

улицам не было еще проезду на колесах. Семейство Калюжиных, маменька с четырьмя дочками, сели в огромный возок и отправились по этой распутице с визитами. Едут они по моей улице, взобрались на знаменитый сугроб мой, а оттуда кучер возьми да и вывали их прямо ко мне в окно. Я сидел в халате за работой в соседней комнате, но, услышав страшный крик в окне своем, успел еще вовремя подскочить, чтобы принять под руки незваных и неожиданных гостей. В самом деле, им нельзя было вылезть иначе из возка, как прямо ко мне в окно. Раз, два, три, четыре, пятая сама Анна Мироновна, – все, слава богу. Народ сбежался, возок поставили на ноги, подали под крыльцо, и я гостей своих выпроводил: раз, два, три, четыре, пятая сама Анна Мироновна, – слава богу, все.

Это происшествие, в котором я, право, столько же виноват, как и вы, разнеслось сейчас же по всему городу, наделало шуму, толков, а меня, который не бывал уже более месяца в доме Калюжиных, из благодарности пригласили к обеду и на вечер и взяли с меня слово быть непременно. Анна Мироновна

рассказывала чудеса об отчаянной неустрашимости моей, как я спасал их из-под опрокинутого возка, – хотя, по правде сказать, мне оставалось только открыть окно свое, и вся поклажа, весь груз вывалился в мою комнату. Я был при этом лицо страдательное. Но странно, как несколько дней сряду после этого происшествия весь город теснился более обыкновенного в гостиную Калюжиных, как будто любопытствуя взглянуть на них после визита уездному лекарю: те ли они, какие были? А еще страннее, что господин вице-губернатор счел за нужное подослать ко мне после этого знакомого со мной чиновника своего с объявлением, чтобы я и не думал о невесте из дому Калюжиных, что этому-де не бывать. Я глядел долго, вопросительным знаком в натуре, на приятеля моего и не знал, хохотать ли мне или сказать пошлую грубость. Наконец я сделал и то и другое; я расхохотался и спросил его: «Разве есть в Алтынове обычай сватать непременно тех девиц, которых кучер вздумает вывалить к вам в окно?» Приятель заметил однако же, что я сватался на Прасковье Герасимовне и что я ныне возобновил пред-

ложение свое; я отвечал прямо, что это нагольная ложь; и когда тот уверил меня, что он об этом сам слышал от Анны Мироновны и был свидетелем споров ее по сему предмету с зятем, то я в ту же минуту оделся и пошел к вице-губернатору сам.

– Что скажете, почтеннейший?

– Я пришел к вам со странным объяснением; но как быть, извините меня. Вы приказывали сказать мне под рукою, что не желаете, не допустите брака одной из своячениц ваших с уездным лекарем; свидетельствую перед вами, что уездный лекарь этот никогда не думал льстить себя такой несбыточной надеждой, что он даже никогда не желал, не искал этого и, следовательно, ничем не угрожал вашему семейному спокойствию.

– Как? – спросил вице-губернатор, сблизив и нахмутив брови.

– Так, – отвечал я, – никогда не думал я об этом и первое слово слышу сегодня от приятеля моего, почему и счел долгом лучше сейчас с вами объясниться.

– Вы, однако же, имели намерение, то есть желание, – продолжал вице-губернатор, – и,

может быть, оставили его, как человек благо-
разумный, который...

– Который, – прервал я, – никогда об этом не думал, никогда на свете ничего подобного не говорил, никогда, сколько знает, не подавал к таким сплетням ни малейшего повода, и только.

Его высокородие походили взад и вперед, заложив руки в карманы, промычали раза два отрывисто букву м, потом вдруг обратились ко мне с просьбой, чтобы это все осталось между нами.

– Я в деле этом, – сказал я, – человек посторонний, не спросите вы меня, и я бы ничего об этом не знал, не только не говорил. Но что же теперь, когда сплетня получила, по-видимому, такую гласность, прикажете мне отвечать тем, которые заблагорассудят спросить меня об ней с такою же откровенностью, как вы?

– Послушайте, – сказал вице-губернатор, – а как почтенное имя и отчество ваше, позвольте узнать?

– Вакх Сидоров.

– Виноват, извините меня. Послушайте,

любезный Вакх Сидорович; сами вы изволите видеть, дело щекотливое – речь идет о доброй славе девицы одного из первых домов здешних: скажите, что вам отказали; вам можно со временем доставить покровительство; вы знаете, без этого молодому человеку служить трудно.

Я поглядел несколько времени на этого уездного лекаря из податного состояния, перед которым стоял вице-губернатор со звездой в виде какого-то просителя, и забыл на время, что я сам одно из действующих лиц этой комедии. Я опомнился, когда вице-губернатор стал просить меня убедительнее и обещать еще с большим жаром высокое покровительство свое.

– Не для того, Иван Степанович, – сказал я наконец, – что вы обещаете мне лестное покровительство свое, – я обходился без него и не при таких обстоятельствах, в каких живу ныне, – не потому, что она девица из первого дома в Алтынове, а я из последнего в Комлеве, а просто так, без всяких причин – извольте, я сделаю это: я буду говорить, что мне отказали. Но потрудитесь уже взять на себя из-

винить меня перед Анной Мироновной: я у них в доме более бывать не могу.

Вице-губернатор облобызал меня и проводил до передней; через два дня вышла страшная сплетня, которую пересказать в подробности не поворотится язык, да и не стоит того; из благодарности к поступку моему рассказывали обо мне ужасные и беспримерные злодеяния, ухищрения, происки, черные поступки всех родов, вследствие-де коих мне и было вдруг отказано не только от бывшей невесты моей, но и от дому Калюжиных; предостерегали весь город не знаться и не водиться с таким неблагодарным злодеем, который-де был принят в дом, обласкан как свой и прочее и наконец отблагодарил таким черным поступком. Листки мои во всех четырех альбомах были по приказанию маменьки вырваны и преданы поруганию; наконец призывали тайно какую-то знахарку – кто говорил для привораживанья моего, кто говорил из мести, – чтобы напустить на меня корчи и сухотку.

Я почти лишним считаю прибавлять еще какое-нибудь пояснение; наглая сплетня о

сватовстве моем изобретена и распущена была первоначально самою Анной Мироновной, с тем: 1-е – чтобы в городе заговорили о новом женихе в семействе Калюжиных – мера, признанная издавна полезною и потому повторяемая у Калюжиных, как во время оно чистительные средства около первого числа каждого месяца; 2-е – чтобы понудить других женихов приступить порешительнее к делу; 3-е, наконец, – чтобы приготовить себе на всякий случай убежище; если, то есть мера, по первым двум статьям, оставалась бы недействительною, то сделали бы из подставного жениха заправского, настоящего, постарались бы придать делу такую степень гласности и запутать нареченного со всех сторон подосланными людьми и подведенными штуками, что бедняку в самом деле ничего бы не оставалось, как жениться, если он не хотел бежать с этого света куда-нибудь на другой или по крайней мере в другую губернию.

Я дал вице-губернатору слово принять все это на себя и сдержал его. Впрочем, вероятно и независимо от этого и против воли моей, вся вина упала бы на меня: одинокому и ни-

чтожному по чипу и званию человеку слишком мудрено было бы состязаться в доброй славе и имени с таким почетным и хлебо-сольным домом, каков был в Алтынове дом Калюжиных.

Я отставал от общества все более и более, жил бедно и тесно одним жалованьем своим и посвятил все время свое, весь досуг книжным и письменным занятиям и большим тех званий и сословий, которые нелегко находят необходимую для них помощь и пособие. Вся безмездная практика Алтынова и его окружности была у меня в руках.

Глава XIX. Об огурцах, моркови, тыквах, картофеле и других предметах роскоши

Однажды утром ко мне заходит Негуров, который, вышедши, как я сказывал, в отставку, нашел давно уже очень хорошее и выгодное место: управлял большим имением образованного и благомыслящего вельможи, проживающего в столице, и был доволен судьбой. С ним, с Негуровым, я иногда отводил душу, и когда он бывал в городе, то всегда меня навещал.

Негуров сделался замечательным хозяином, и его образ мыслить, судить, образ действий, смышленность истинно русская меня всегда чрезвычайно занимали и привлекали. Я слушал его по целым часам, и здравые суждения, необыкновенно удачно приспособленные к обстоятельствам и выраженные плавною, чистою русскою речью, пленяли меня, как ребенка. Помню, он говорил в этот достопамятный для меня день о причине упадка поместий и о нраве русского крестьянина.

«Большая часть хозяев и промышленников наших, – говорил он, – двух родов: староверы и модники, выскочки. Первые тупы, упрямы, держатся за изуверством бестолковых учреждений и распоряжений закоренелого предрассудка; вторые изображены Крыловым очень удачно в басне «Огородник и философ» – они выписывают мастеров и управителей из-за границы, в полной уверенности, что коли он немед или француз, так должен все знать и все уметь, и не замечают того, что к ним едут из-за моря одни выжимки, сор и брак, людьми, которым там уже некуда деваться. Другое, не менее важное обстоятельство: у отца пятьсот душ и имение в порядке; старик живет баринном, у него по обычаю пятьдесят человек дворни, своя охота, свои певчие – трем сыновьям его достается каждому сто шестьдесят шесть и две трети души, а каждый из них непременно хочет жить, как жил отец. Они не привыкли жить иначе, по крайней мере с детства привыкли слышать и думать, что, в свою очередь, заживут барями, – как от этой заветной мысли отказаться, допустить, чтобы все соседи говорили: «Ста-

рик жил не так, жил открыто, у него было то, другое, третье – у сыновей нет этого ничего, они живут мелкопоместно». И куда девать им дворню эту, избалованную, гулливую, праздничную, не привыкшую к работе, если бы они, сыновья, и вздумали жить похозяйственнее? Наш род хозяйства таков, что огромная дворня объест в несколько лет и богатого помещика, как червь или кобылка, а помещика средней руки обглодает кругом. Далее: кроме Демидова [19], у которого вообще управление в Тагиле может назваться образцовым, у нас мало в России помещиков, у которых были бы крестьяне обеспечены надлежащим образом запасами на случай голодного года; урожай – хлеб продается за бесценок; неурожай – и беде нечем пособить, вся выручка трех-четырёх прошлых лет не может прокормить нас в течение одного бедственного года, потому что денег, если бы они и были еще налично, есть нельзя, и чем более вы выпустите в такой год денег, тем более вздорожает хлеб, но его не сделается более, запасов не прибавит. Ясно, что достаточные запасы хлеба с году на год предупредили бы это бедствие и

могли бы поддерживать всегда уравни-тельные, средние цены, именно как это делается в Тагиле. Дешев хлеб – не продавай его, а дорог – не набавляй через меру цены, и выгода все у тебя будет та же. Но хозяйство наше всегда устроено на одни сутки; мы искони перебиваемся с весны на весну и без наличной выручки к сроку не можем прожить трех дней.

Надобно также уметь совладать с мужиком нашим, надобно для этого научиться не только грамматике и риторике его, то есть языку, но и логике; да у него логика своя: он готов поверить всякую минуту самому бессмысленному вздору, если вы подкрепите болтовню свою его логикой, и, наоборот, не поверит очевидной истине, если не сумеете его убедить. У нас это большое горе, что не умеют говорить с чернью; говорят с нею или свысока, так что она не может ничего понять, или как с животными, со скотом. Мужик не верит предохранительной оспе [20], не верит пользе от картофеля и других овощей, не верит никакому новому и лучшему порядку в управлении, а готов верить, что предохрани-

тельную оспу пустил на свет антихрист, что картофель – порождение сатаны и от него не будет урожая на хлеб; наконец, что все господские селения отбираются в казну, а господа сами для этого жгут их, что целая губерния подарена какому-то небывалому сенатору Медведеву, чему-де служат доказательством гербы с медведями (то есть со львами) на картузах жуковского табаку. Но так точно, как в последнем случае чиновник, которого разъярившаяся чернь хотела разорвать на клочки за то, что нашла у него картуз табаку с гербом сенатора Медведева, нашелся, успокоил и вразумил неистовых простым замечанием, что «какой же-де это медведь, братцы; посмотрите, ведь медведь куцый живет, а у этого долгий хвост», – так точно и в других обстоятельствах можно убедить и вразумить мужика, но у нас редко достанет на это терпения, смысленности и находчивости; мы мало сроднились с духом нашего народа.

Впрочем, не спорю, есть случаи, где и самый благомыслящий человек потеряет терпенье и где, по-видимому, нет никакого средства вразумить сумасбродов, кроме силы и

страха. Гром не грянет, мужик не перекрестится, – эту пословицу создали не мы, а сам же народ. Мужик умен, да мир дурак, и если горбатого исправит одна только могила, то упрямого исправляет дубина. Крестьяне одной из соседних деревень здешних, Агеевки, вдруг взбунтовались: распусти их всех на оброк. Помещик отказал, не видел никакой к тому причины, не хотел бросить заведенное хозяйство свое и прогнал мужиков на работу. Вместо работы они все собрались в одну кучу, отправились гурьбой в уездный город, к исправнику на двор, и требовали настоятельно, чтобы их распустить на оброк, что они работать барщины не хотят. Исправник разобрал дело, поговорил с приехавшим вслед за ними помещиком; жалоб никаких не было, одно настоятельное требование: распусти их на оброк. Исправник поставил мужиков рядком, толковал, говорил, усовещевал – нет; крик увеличивается, и слышно одно бестолковое требование: распусти их на оброк. Исправник начал с правого флангу и высек розгами сряду и поголовно всех; тогда мужики мои поблагодарили по обычаю своему за науку, по-

клонились в пояс, повинились, отвечали в голос, что теперь поняли приказание исправника и обязанности свои, воротились чинно в деревню и на другой же день принялись спокойно за работу. Мужики мои прошлись только взад и вперед верст тридцать пять за доброй наукой, расписались в получении бани и, как разумные люди, опять успокоились.

Я могу вам рассказать много подобного и из собственного опыта моего, из нынешнего моего хозяйства. И я колочусь с ними иногда как рыба об лед. Например: у нас лошадей воруя у мужиков беспрестанно, а пастуха держать не соглашаются, лучше пускают лошадей все-таки на авось. Овец гоняют в одном стаде с коровами, потому что держать особого пастуха для овец стоит по двадцать копеек с овцы, чего крестьянин заплатить не согласен. Между тем коровы беспрестанно дают и топчут овец, особенно ягнят; не проходит летом двух недель, чтобы не задавили по крайней мере одного, – все это не наука, не убеждение, все-таки всякий пускает овцу свою на авось в коровье стадо. Огородов нет у крестьян, бахчей нет, кроме хлеба своего, не сеют ничего и

сеять не хотят; мало этого: я сею овощей много и, чтобы заохотить крестьян, отдал им прошлого году целый загон готовой моркови и сотни две тыкв, сказав старосте, чтобы он разделил это на всех. Что же вы думаете? Морковь погнила вся в земле, тыквы померзли и пропали, никто не потрудился воспользоваться этим, ни один человек не поехал набрать тыкв, не послал ребятишек набрать моркови – ■ от лени и от упрямства. Но если вы думаете, что крестьяне мои не едят тыкв и моркови, то ошибаетесь: удельные крестьяне по соседству сеют много овощей всякого роду и развозят их по деревням; когда к моему мужику привезут под окна воз моркови, то мужик берет ее не только за деньги, коли они у него есть, но, что хуже того, берет мерку моркови за мерку муки; между тем морковь стоит десять копеек, а мука – полтину, а этого вы мужику не растолкуете людской логикой; он говорит свое: отдал муку, так деньги дома. Крестьяне меняют таким образом и тыквы, и огурцы, и свеклу, а сами не разводят их, все за недосугом. Они из барского огорода воруют картофель, дозреть ему не дадут; наемдни

ровно свиньи все гряды перерыли, а заставьте их развести свой – беда; готовы взбелениться за такое притеснение, за насилие и соблазн».

Глава XX. От предметов хозяйства и до самого конца рассказа, с попутными замечаниями о чеботарном ремесле

Между тем как мы толковали с Негуровым, вошел старик чеботарь, отставной солдат, который всегда в Алтынове на меня работал. Негуров поздоровался с ним и прибавил, обращаясь ко мне: «Славный старик, тезка и однопрозванец твой, я его люблю». – «Какой тезка? – спросил я. – Это редкость, я немного встречал на Руси тезок, разве и тебя зовут Вакхом?» – «Нет, – отвечал тот, – Сидором». А Негуров прибавил: «Он однопрозванец твой, Чайкин».

Чайкин – и Сидор Чайкин – меня вдруг будто обдало кипятком с головы до ног! «Да откуда ты родом?» – спросил я робко, проглотив почти словечко *ты*. «Из Комлева», – отвечал старик и принялся было снимать у меня с ноги мерку, закусывая метки зубами.

Из Комлева, и Сидор Чайкин! Веще неда-

ром во мне вздрогнуло. Это точно был мой отец. Лет пять жил он уже в Алтынове, куда случай его занес, два года постоянно на меня работал, и теперь только объяснилось, что это был родной мой отец. Тридцатилетние похождения его были очень просты: он был отдан в Лебедяни в солдаты, как бродяга, прибыв на ярмарку в надежде *на авось*, без паспорта и связавшись с другим барышником, или, лучше сказать, конокрадом, который, поручил ему продажу краденых лошадей, чего отец мой и не знал, он был запутан в это дело. Прослужив законный срок, батюшка был уволен в отставку, а как у него в Комлеве не было никого из своих, то он и остался на перепутье в Алтынове и зарабатывал хлеб свой ремеслом, которому выучился на службе. Старик никак не хотел верить яснейшим доказательствам моим, что я точно сын его, дело казалось ему баснословным, наконец он расплакался как ребенок и, утирая слезы, говорил без умолку, рассказывая все похождения свои в каком-то полунервическом раздражении чувств и духа.

Можете себе представить, какого это наде-

лало шуму в Алтынове, когда разлилась весть, что чеботарь Сидор оказался родным отцом уездного лекаря! Одна из записных вестовщиц, до которой все новости всегда доходили ранее, чем до всех прочих, разумеется задушевная приятельница Анны Мироновны Калюжиной, приехала к этой спустя не более часу после описанного случая; а как в доме еще было рано, то она захватила всех врасплох и, между прочим, застала в передней девку и лакея, сестру и брата, в какой-то ссоре; гостья эта сделала в ту же минуту расправу, дав им обоим по пощечине и несколько назидательных уроков, и затем прошла, червчатая неожиданною новостью, прямо в покои Анны Мироновны, где и разрешилась мгновенно и благополучно от бремени своего; только при прощанье она, увидав опять ту же девку, сказала мимоходом: «Я у вас, матушка Анна Мироновна, разобрала и помирила людей, Фомка бранится вот с сестрой и чуть не подрались, – нет, не беспокойтесь, я уже поконила это дело». – «Видите, я всегда вам говорила, что этот Чайкин – преподлый человек, – отвечала Анна Мироновна, когда она

опомнилась от изумления, и потом закричала: – Детки, детки! Подите сюда!» И когда бабышени, пошаркивая отопочками своими и поддерживая и прихватывая, где надобность была, свои блузы и капоты, вошли, то она рассказала им происхождение мое с каким-то видом наставления и поучения, приказывала вперед всегда остерегаться таких случаев, и еще раз осведомилась: не осталась ли какая-нибудь память обо мне в котором-нибудь альбоме?

Инспектор управы, как ближайший начальник и покровитель мой, призвал меня, когда весть дошла до него, частным образом и глаз на глаз расспросил обо всем подробно, приговаривая: «Да как же это так?» – и пожимаясь то в ту, то в другую сторону, как будто его жгло то тут, то там или что-нибудь такое беспокоило; наконец, убедившись в истине дела, советовал мне с видом покровительства отправить, коли уж это так случилось, старика своего потихоньку домой на родину. Наш инспектор управы был также в своем роде человек: он чернил искусно густые, седые волосы свои, употреблял много притираний и раз-

ных косметических средств и снадобий, одевался и убирался каждое утро часа два, запираясь один на замок, выступал очень важно и величаво, любил цепочки, печатки, перстни, кольца и булабочки с мушками и козявками, поместил сам себя врачом при больнице, в богадельне, в приказе, при гимназии, в семинарии – словом, при всех заведениях в Алтынове, где только было хоть малое жалованье; доносил всегда подробно о своих обширных занятиях и в круглый год не заглядывал ни одного разу никуда. По важности чина его и места это и действительно было бы неприлично; больным уже легко было оттого, что он там числился. Там всем заведовали фельдшера и даже писали по форме скорбные листы и названия болезней на дощечках. Итак, он посоветовал мне отправить отца скорее на родину его.

– Кому же он здесь мешает? – спросил я.

– Ну оно, видите, неловко: как же вы хотите жить в одном городе с родственником из такого сословия -.рассудите, я советую вам начальнически; это может вам повредить, так сказать.

– Если бы я жил с отцом и вперед, как доселе, когда не знал его, врознь в одном городе, – продолжал я, – тогда, конечно, это могло бы дать невыгодное обо мне понятие; но как мы отныне со стариком не расстанемся и будем жить вместе, то я не вижу тут никакого неудобства.

Инспектор посмотрел на меня в каком-то недоумении, потом, приподняв брови, отвернулся, кашлянул два раза и чихнул притворно, что он делал, впрочем, с большим искусством в критических положениях, когда хотел вдруг переменить или оторвать разговор. Помолчав немного, я прибавил еще:

– Впрочем, во всяком случае, обстоятельство это не будет беспокоить никого, ни даже вас, Сергей Сергеевич, если только вы будете, по всегдашнему своему расположению ко мне, столь добры, что не задержите просьбы моей: я намерен ныне же подать в отставку.

У Сергея Сергеевича отлегло много от сердца, когда он это услышал; ему с меня, как с козла, не было ни шерсти, ни молока, и это ему давно уже надоело; придирамкам всех родов не было конца. По временам только он

снова мирился со мною по какому-нибудь особому поводу, давал мне много хороших наставлений и надеялся, что у нас вперед дела пойдут лучше; а впоследствии, когда я, по недогадливости своей, не заправлял их ничем, всегда возникали опять новые неудовольствия.

Я вышел в отставку вот по какому поводу: Негуров, учредив в имении порядочное управление, вскоре приобрел доверенность и уважение не только своего помещика, но и двух-трех соседних; он устраивал в селе при заводе больницу и убедил соседей в пользу последовать примеру его и взять на первый случай на общий счет врача. Таким образом, он предложил мне место это, которое вполне обеспечивало меня насчет насущной жизни. С жаром принялся я тут снова за свою обязанность и впервые почувствовал себя на своем месте; мог жить и действовать свободно и благодетельно в кругу своего звания, где никто не перечил мне, не искал случая сделать мне какую-нибудь неприятность, не требовал одной только утомительной и бесполезной письменной отчетности, как главного

предмета, а где обращали внимание на труды, заботы и успехи мои в пользовании немощных, где вникали во всякое благоразумное предложение и требование мое и дали полную власть заботиться не только о больных, но и о сохранении здоровых. Таким образом, сделали распоряжение, по которому все женщины в деревне на все время беременности своей освобождались от работ; выстроили бани, запретили мочить конопель в озере, из которого все берут воду, завели продажу говядины меною на хлеб, чтобы дать всякому средство иметь чаще мясную пищу; приняли множество мер противу смертности младенцев, и я надеюсь, что в течение немногих лет старания наши покажут в числительных выводах пользу всех этих распоряжений.

Вот под какими обстоятельствами, приметами и знаменами праздновал я в кругу семьи Негурова тридцатое рождение свое. Обещав рассказ о жизни моей только за тридцать лет, за первую половину, я бы должен был на этом закончить нынешние записки свои; но для полноты дела следует прихватить еще и часть тридцать первого года, с коего начина-

ется вовсе для меня новая жизнь, новое лето-счисление.

Мой добрый безногий француз, переходя из рук в руки, попал между тем – куда бы вы думали? – в дом к моему полковнику, у которого детки подросли и требовали воспитания. Француз всегда писал мне от времени до времени и описал мне с особенным жаром свой торжественный въезд и вход на костылях в дом моего благодетеля. Вечно юный сердцем старик описывал с восхищением, как приняли в доме полковника бывшего учителя Вакха Чайкина, с каким уважением с ним обходились, как все не могли им нарадоваться. «Да, – прибавил он, – отставной артиллерист большой армии, отставной учитель Вашеньки опять вступил на службу, но чувствует, что вскоре будет отставлен и уволен от службы и звания гражданина этого мира, скоро будет отставным человеком. Старость не беда, но беда – дряхлость, которая заставляет поглядывать иногда мимоходом в готовую яму. Там мое место, Ваша, там, это я чувствую, и я бы давно остыл уже, если бы меня не грели иногда воспоминания. Здесь, Ваша, есть еще

одно солнышко, которое ходит за мною, как дочь за отцом, – и это в честь тебе, друг мой, *honneur aux braves!* [21] Груша кланяется тебе, и признаюсь тебе, сухой поклон этот по себе, без этого думного, спокойного личика, – пустая фраза, а я таки когда-нибудь соберусь, и спишу ее, и пришлю тебе напоказ темно-русую головку, которая не может быть, чтобы не оставила в тебе каких-нибудь приятных воспоминаний».

Приписка. «Письмо осталось на неделю, не попало на почту, и я посылаю тебе обещанное сокровище: видишь, я ребячусь, как школьник, и делаю непозволительные шалости – не выдай меня, не продай». Личико это было то же, как шесть-семь лет тому назад, когда оно прожило на свете всего лет пятнадцать или шестнадцать, – детская резвость его только смягчилась умным и спокойным взглядом, полным души. Прежнее, бывшее пробудилось во мне с невероятною силою, я заплакал как ребенок.

Я потребовал отчета у француза: каким образом Груша, которая давно замужем, жила

опять в доме у полковника? И француз отвечал мне, что она никогда замуж не выходила; она была помолвлена несколько лет тому, по настоянию сестры и зятя, но не смогла одолеть отвращения своего от замужества и, по личному объяснению с женихом своим, осталась опять свободною.

Передумав несколько времени и переработав в голове и в сердце это, я объяснил своему французу все, сказав, кто я теперь и чем могу располагать, и поручил ему сделать разведку и опознаться на месте, как и где рассудит, и уведомить меня: нет ли для меня еще какой-нибудь надежды? Переговоры эти кончились тем, что я поскакал туда сам и привез с собою в столицу нашу, село Негожево, в шестидесяти верстах от Алтынова, молодую жену, Грушу. Француза мы оставили полковнику еще на время, с тем чтобы он приехал умирать к нам, и он свято обещал исполнить это, и вскоре. Батюшка живет, разумеется, с нами, но не ест хлеба даром: он еще свеж и здоров и чеботарит преспокойно на весь дом наш, потому что ему сидеть сложа руки и грешно и скучно.

Примечания

Впервые – «Библиотека для чтения», 1843, том 57, кн. 1, за подписью В. Луганский.

[^^^]

Стародумов, Прямиков – распространенные имена действующих лиц в русской комедии XVIII века.

[^^^]

Для некоторых читателей надобно, вероятно, пояснить это место. *Бессмертный баран* или *овца* дается молодому крестьянину, когда его женят, на обзаведение хозяйства; крестьянин обязан прокормить эту даровую овцу и подносить барину ежегодно по ягненку; жива ли, нет ли овца, никто не спрашивает; она числится бессмертною. *Тальками* называются уроки, задаваемые бабам на зимние ночи, когда их заставляют прядь лен; здоровые бабы ходят на другую барскую работу, а хворые, косолапы сидят при нагорелых лучинах и прядут свои тальки. Бабы в одном мне известном случае не могли или не хотели откупиться от работы этой за шестьдесят копеек в зиму, а между тем плачут за нею горько и просят освободить от нее. *Самосидные яйца* раздаются по паре во все крестьянские дворы, и бабы обязаны высидеть и представить за них весною цыплят. Шитые *утиральники* и по десяти рублей собираются со всех новоженцев в пользу господ, когда молодым дается позволение вступить в брак. Все очень полезные и

крайне хозяйственные заведения. (Прим. автора.)

[^^^]

3

Помнишь ли ты об этом (*франц.*).

[^^^]

...стану учиться в академии... – Медико-хирургическая академия существовала в Петербурге с 1798 года.

[^^^]

5

«Да здравствует Генрих Четвертый» *(франц.)*

[^^^]

6

Благостный город Рим (*итал.*)

[^^^]

7

Россини Джоаккино (1792 – 1868) – знаменитый итальянский композитор, автор 38 опер.

[^^^]

8

То есть черкнуть ножом по земле между ног.
(Прим. автора.)

[^^^]

9

Мыслете – название буквы «м» в славяно-русской азбуке.

[^^^]

В продолжение этого года Василий Иванович сделал только одно умное дело... – Начинаясь этими словами абзац, в котором сообщается о «деле», напоминающем известную аферу Чичикова из «Мертвых душ», отсутствует в журнальном тексте.

[^^^]

Действительно, по статуту полагался орден св. Анны 3-й степени тому, «кто побуждаемый одной благотворительностью, советами или посредством своим, многократно прекращал разорительные тяжбы, особенно между родственниками, и заслужил тем название миротворца, единогласно признанное как частными, так и начальствующими лицами губернии» (Свод основных государственных законов Российской империи, том 1, ч. 1, кн. VIII. Учреждение орденов и других знаков отличия, гл. 8, § 13).

[^^^]

По числу белых пятнышек на хвосте, состоящих, по словам знатоков, в тесной связи с голосом щегла. (*Прим, автора.*)

[^^^]

Сорокопут – хищная птица из семейства воробьиных

[^^^]

Пишкет (пешкет) – гостинец, подарок.

[^^^]

С «Библиотекой» – то есть с журналом «Библиотека для чтения», весьма распространенным в 30 – 40-е годы XIX столетия.

[^^^]

...не хотелось заводить такую моду... – К этим словам в журнальном тексте дано примечание: «Это не шутка и не клевета: лет тридцать, не с большим, ни одна порядочная дама не надевала платье свое иначе, как непосредственно *на себя*: на щеголихах бывали изредка батистовые рубашки».

[^^^]

Притин – место, где ставится часовой.

[^^^]

Турухтан – птица из отряда куликов, именуемая еще драчун-кулик.

[^^^]

Демидов. – В 30 – 40-е годы XIX века владельцами уральских железных заводов были: П. Н. Демидов, прославившийся благотворителем; известен как учредитель «Демидовских наград» (выдавались с 1831 по 1865 г.), и А. Н. Демидов, живший преимущественно в Италии, где он купил княжество Сан-Дonato (близ Флоренции) и присвоил себе титул князя.

[^^^]

Мужик не верит предохранительной оспе... – С этих слов и до конца главы рассуждения Негурова в журнальном тексте имеют иной характер. В частности, рассказ о взбунтовавшихся крестьянах Агеевки и усмирении их исправником совсем отсутствует.

[^^^]

Почетъ смелым (*франц.*).

[^^^]